



Дмитрий Володихин
Доброволец

«Автор»

2006

Володихин Д. М.

Доброволец / Д. М. Володихин — «Автор», 2006

Многим хотелось бы переделать историю своей страны. Может быть, тогда и настоящее было бы более уютным, более благоустроенным. Но лишь нескольким энтузиастам выпадает шанс попробовать трудный хлеб хроноинвэйдоров – диверсантов, забрасываемых в иные эпохи. Один из них попадает в самое пекло гражданской войны и пытается переломить ее ход, обеспечив победу Белому делу. Однако, став бойцом корниловской пехоты, отведав ужаса и правды того времени, он все чаще задумывается: не правильнее ли вернуться и переделать настоящее?

© Володихин Д. М., 2006

© Автор, 2006

Содержание

Часть 1	8
Часть 2	14
Конец ознакомительного фрагмента.	45

*Моей жене Ирине посвящается.
Без нее плохо бы мне жилось.*

*Белая гвардия, путь твой высок:
Черному дулу – грудь и висок.*

*Божье да белое твое дело:
Белое тело твое – в песок.*

*Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает...*

*Старого мира – последний сон:
Молодость – Доблесть —
Вандея – Дон.*

(Марина Цветаева)

***Первая запись в дневнике добровольца.
25 июня 2005 года, дальнейе Подмосковье***

Лет пять, как я не занимаюсь спортом, а потому несколько расплылся. Неприятно, но не катастрофично... кроме некоторых моментов. Или в присутствии некоторых людей.

Передо мной стоит человек, больше всего похожий на охотничью собаку. Поджарый, мускулистый, пружинистая походка, особенная легкость движений, которая бывает только у тех, кто на завтрак делает пятикилометровый забег. Настоящая овчарка... то есть овчарк. И даже, кажется, вздергивает нос, принюхиваясь к лесным ароматам... Нет, показалось. Нос как нос, ничего особенного, ни к чему не принюхивается. Но глазами туда-сюда стреляет каждую минуту и головой вертит на сто восемьдесят градусов. Если бы мог вертеть на все триста шестьдесят, обязательно вертел бы. Потому что боится.

То, чем мы тут занимаемся, оттеснив ролевиков с полигона, тянет лет на пять-шесть.
Для него.

А мы схлопочем по годiku – максимум. Или отделаемся пропесочиванием всей пищеварительной системы от ротового отверстия до анального.

Боится, но ввязался. Потому что он – наш и, наверное, отправится вместе с нами в заветное лето девятьсот девятнадцатого взбивать пыль на степных дорогах русского юга. Или просто очень сочувствует нашему делу. Работает, но дрожит, дрожит, но работает.

Инструктора нам велено называть Константином. И не соваться с расспросами, кто он, да что он, да откуда он все знает. Но по всему видно, что когда-то приклад набивал ему синяки на правом плече...

Именно сегодня я первый раз потрохами почувствовал, в какую кашу влез, и как трудно будет вылезти из нее живым и невредимым. А потроха в некоторых случаях инструмент гораздо более точный, нежели мозги.

Мемориальный военно-исторический клуб... Мать вашу.

Ладно. Готовиться к заброске и держать язык за зубами. Вот, в сущности, все, что от меня требуется.

– ...теперь ваша очередь. Что это?

– В-винтовка.

– А я было подумал, корзина с груздями. Какая винтовка?

– Э-э-э... – потянул я, глядя на исковерканную ржавь, откопанную в местах боевых действий какими-нибудь черными археологами и совершенно потерявшую первоначальную форму. – А! Манлихер. Австрийский манлихер образца 1895 года.

– Количество патронов в обойме?

– Пять.

– Какая подковырка?

– Б-боеприпасы. Калибр 8 миллиметров, и...

– Достаточно. Это?

Отчеканиваю с достоинством:

– Русская трехлинейная винтовка Мосина образца 1891 года! Национальная гордость. Вес – четыре и две десятых килограмма. Обойма на пять патронов. Стрельба производится с примкнутым штыком.

Инструктор фыркает:

– Вы когда-нибудь держали в руках Арисаку?

– Нет, откуда...

– Тогда молчите о национальной гордости. Понятно вам?

– Д-да...

– Возьмите винтовку и передерните затвор.

Это я сделал без труда. Трехлинейка была в прекрасном состоянии, даром, что отрыли ее бог знает где...

Он протянул мне обойму.

– Вставьте.

Заряжание трехлинейки – не такая простая штука, как может показаться. Тут, кстати, кроется определенное ее неудобство, о котором я знал чисто теоретически, иными словами, по отзывам в сети. Человек, привыкший к автомату Калашникова, будет неприятно поражен. Что ж, теперь мои пальчики поняли природу неудобства. Возможно, когда-нибудь это спасет мне жизнь.

Пока я возился, «Константин» присмотрелся к прочим «диверсантам» и гаркнул:

– Курсант Трефолев! Отставить!

– Но я же только... – бормочет Яша, попытавшийся с помощью перочинного ножа извлечь из французского кавалерийского карабина шомпол.

– Отставить!

Яша, тяжело вздохнув, покоряется. Инструктор, успокоенный, поворачивается ко мне.

– Какое охлаждение у пулемета системы Максима?

– В-воздушное...

– А если подумать?

– В-водяное.

– Отлично. Что из стоящего перед вами называется пулеметом системы Максима?

– В-вот этот, – неуверенно отвечаю я. – Только почему-то без щитка. И без этих... ну...

– Так без чего?

– Б-без колес.

– Приглядитесь повнимательнее.

– Ох, простите, это станковый пулемет Шварцлозе. Простите, уж очень похож на Максима. А Максим рядом стоит, вот он.

– Святые угодники! Наконец-то. А это что такое?

– Л-льюис.

– Именно. Классика. Очень добротная вещь. Не то что какой-нибудь Шош. Слышите, курсант Денисов? Если вам предложат на выбор: обслуживать пулемет системы Шоша или

пустить себе пулю в лоб, так лучше пулю... А теперь вот вам канистра с водой, залейте ее в кожух Максима.

Я принимаюсь вяло ковыряться с Максимом. Где же дырка-то... Как там на схеме было? В справочнике... А... вот она. Точно. Спасибо, Господи, надоумил! Надо мной слышится нервное взвизгивание инструктора:

– Куда ты целишься, баран?!

Яшин голос:

– Да я... это... просто примериваюсь.

«Константин» орет:

– Отставить! Отставить! Отставить! – и, обращаясь ко всем нам, – Вы знаете, на сколько тянет то, чем мы тут с вами занимаемся?

Мы молчим. В такие моменты лучше молчать.

Он успокаивается.

– Курсант Денисов, считайте, зачет по теории сдали...

Хотя на часах немыслимая рань, и кругом царит рассветная прохлада, инструктор вытирает пот со лба. Потом командует:

– Номера первый, третий и одиннадцатый – на огневую позицию!

Выстрелы вспугивают воронье. Недовольно каркая, птицы кружат над лесом.

Часть 1

Москва

17 августа 1919 года, Харьков

– ...что у него в мешке?

Помощник старого офицера вежливо осведомился:

– Вы позволите? – и, дождавшись моего кивка, вытряхнул содержимое сидора на стол.

– Белье... консервы... ножик... иконка... – он с улыбкой продемонстрировал ее старику, – всякая безобидная мелочь... тетрадки... стишки господина Анненского... о! стишки собственного сочинения... господин приват-доцент, мы с вами маемся от одной и той же хвори... Здесь, кажется, все.

– Все?

– Филипп Сергеич, господин Денисов предъявил письмо от покойного генерал-майора Заозерского. Его превосходительство в течение двух месяцев возглавлял в Москве «Союз помощи Дону» и характеризует нашего собеседника отличнейшим образом. Пар экселленс – хвалебные слова.

– Другие документы? Деньги? Литература?

– Немного денег. Три золотых пятирублевки, старых двадцатипятирублевых купюр и червонцев сотен на пять, с тысячу керенок, пятаковская дрянь... Что, в общем, естественно: Михаил Андреевич пробирается из большевицкой Москвы...

Передо мной сидел очень дряхлый полковник, помнивший, наверное, Плевну и Шипку. Семьдесят ему лет или больше? Волосы седенькие, редкие, не способные скрыть кофейного цвета рябины на макушке. Седенькие же брови. Дряблые веки. Морщинистый подбородок. Ветхий, посивевший мундир кавалерийского офицера. И тихий голос: строгие команды Филиппа Сергеича звучали едва слышно. Глядя на него, я припомнил новогодний привет клячевладельца, обращенный к кобыле бальзаковского возраста: «Ты слеповата, глуховата, седая шерсть твоя примята, хоть серой в яблоках когда-то была она...»¹

– Ваше мнение, поручик?

– Господин приват-доцент от истории не вызывает у меня подозрений. Всего вероятнее, нам были бы за сей подарок благодарны в ОСВАГе или... или, скажем, харьковские приказные люди. В нынешних условиях немногие готовы взять на себя чиновный труд, а из тех, кто готов, каждый второй – сущий невежда. Филипп Сергеич, нам итак пеняют за террибль суровость!

Я внутренне возликовал. Если попаду в городскую администрацию, возможностей помочь наступлению будет хоть отбавляй. Да и встречаться придется по долгу службы со значительными людьми – опять же шанс повлиять на общий ход дел...

Старик отрешенно покачал головой: то ли согласился с поручиком, то ли просто принял к сведению эту благожелательную тираду. Он пожевал ус, поглядел в окно и застыл в позе человека, собирающегося вздремнуть, не покидая рабочего места. Когда нам с поручиком стало казаться, что дрема все-таки накрыла дедушку невидимой фатой, полковник заговорил с неожиданной твердостью в голосе:

– Одежка-то у него свеженькая, непотертая, сапоги не стоптаны, а говорит, что пешком шел от самой Тулы. Это раз. Да и сам свеженький, розовенький, не по времени и не по месту... Это два. Слова выговаривает чудно. Это три. Вы, молодой человек, не латыш ли часом?

– Я русский.

¹ Стихи Роберта Бёрнса.

Мой ответ прозвучал как-то неуверенно. Неужели восемьдесят шесть лет наложили на русскую речь столь сильный отпечаток? Какие-такие слова я неверно выговариваю?

– А коли русский, перекрестись и прочитай «Верую...»

Я встал и выполнил требуемое – все, вплоть до финального поклона после слова «аминь».

Однако полковник по-прежнему смотрел на меня хмуро и недоверчиво.

– Не знаю, не знаю... – глуховато сказал он.

– Но рекомендация генерала Заозерского... – заикнулся было щеголеватый поручик.

– Знавал я Павла Александровича. Замечательный храбрец и лихой рубака, но умишка невеликого человек... Да и то сказать, зря я беспокою прах его честный бранными словами. Достаточно и того, что мы не ведаем, сам ли он писал письмо, да не стоял ли рядом человек с револьвером, не держал ли под прицелом этот, с позволения сказать, человек всю семью Заозерского. Так-то.

Вот тебе и дедушка. Седенький, песок сыплется...

– Знаете что, поручик, я и прежде в ученых мерехлюндиях силен не бывал, а нынче совсем память никуда. А вы вот, я знаю, в Петербургском университете науку умом превосходили. Давайте-ка, спросите что-нибудь эдакое у господина историка.

Поручик откашлялся и приступил ко мне с извинениями:

– Вы должны простить меня, право же, я вижу в вас, сударь, порядочного человека. Но нам попадались разные... хм... ракалы. Иногда, на первый взгляд, честнейший офицер, а вспорешь подкладку, и обрящешь бумажки с совдеповскими печатями...

– Приступайте, поручик! – оборвал его старик.

– Да-да! Извольте. Э-э-э... продолжите, пожалуйста: Quosque tandem abutere Catilina...

– ...patientia nostra.

– Отлично! Тогда... Gallia omnia divisa est...

– ...in partes tres. Издеваетесь, милостивый государь? Это же гимназия.

Поручик быстро взглянул на меня, и в глазах его я не отыскал ни капли добродушия. Он проверял меня всерьез и, кажется, ждал реплики в этом роде. А защищал перед стариком, надо полагать, лишь желая усыпить мое внимание.

– Не обессудьте... Я ведь и сам не дока по части мерехлюндий. Вот разве что... Даниил Московский, Юрий Данилович, Иван Калита, Симеон Гордый... и?

– ...Иван Милостивый.

– Автор победы при Левктрах?

– Эпаминонд.

– Что первым приходит вам в голову, когда вы слышите слово «Саллюстий»?

– Югуртинская война.

– Кого из своих учителей вы сможете назвать?

Это хуже. Не дай бог, сыщется университетский человек, и тогда я не в городскую администрацию пойду, а напрямую к стенке.

– Прежде всего, доктора Роберта Юрьевича Виппера. А также...

– Отставить! – велел полковник. – Какую прическу носил генерал Заозерский?

Вот подвох так подвох! Я ведь даже фотографии-то его не видел.

Мужчины не обращают внимания на прически, они просто не в состоянии удержать в памяти, какая у кого прическа. Да и чем особенным мог выделяться строевой генерал среди коротковолосых военных людей? Особенно ровным пробором? Всего вероятнее, у генерала был какой-нибудь запущенный сад, романтические дебри... Прической это не назовешь.

– Никакую.

– Верно, – с оттенком удовольствия откликнулся старик. – Он был совершенно лыс. Как бильярдный шар.

Однако видно, что подозрительность полковника все еще не была удовлетворена. И он продолжит мучить меня вопросами, раз уж заподозрил. А у меня все шансы провалить экзамен, хоть я никак не связан с армейской разведкой красных. Я тут чужой. Любой комиссар, любой шпион в офицерском мундире намного роднее меня этому времени... Чувствуют они во мне дичь, интуиция у них такая – чувствовать дичь, и разве я не диверсант в каком-то смысле? А значит – дичь.

Из-за приступа страха мои пальцы лишились чувствительности. Если попросят где-нибудь поставить подпись, я, наверное, посажу пером огромную кляксу, да и все...

Никто из нас, двадцати восьми выпускников Невидимого университета, не может покинуть чужое время скорым и безопасным способом: нажал кнопку, и фьють! Каждому «вторженцу» загнули имплант под кожу на правом плече. Внешне его не видно. В автономном режиме эта штучка способна работать тридцать шесть месяцев, но может скиснуть месяцем-двумя раньше. Это как повезет. Никто из нас не рассчитывал провести здесь хотя бы шесть месяцев, а не то что три года. Имплант приводится в действие с помощью довольно сложной гимнастики. Весь комплекс «упражнений» требует минуты три, не меньше; в принципе невозможно проделать его случайно. «Основатели» очень просили нас молиться в момент хроноперехода. Один из них поделился замысловатой теорией – дескать, эмоциональное состояние прямо влияет на биопараметры, на тонкую энергетiku, вам, мол, надо, ребята, настроиться. Только объяснял он в десять раз сложнее. Другой попросту сказал: «Без помощи Божьей ничего у вас не выйдет». Вот такая физикомистика... И есть одно печальное следствие из нее: пока ты на людях, беглецом тебе стать не дадут. «Выполните мое последнее желание, господа!» – «Какое?» – «Позвольте руки-ноги позаплетать в узлы. Очень способствует телесному здоровью!» – «Становись-ка к стеночке, поздно тебе о здоровье заботиться, прощелыга».

А ведь пристрелят! Как бог свят пристрелят! Свои же! Да и просто – пристрелят, свои они там или нет, убьют меня!

И я принял решение: бог с ней, с чиновной карьерой в деникинском лагере. Надо прежде всего выжить.

– Напрасно вы мытарите меня, господа. Я ни в чем не нуждаюсь, кроме исполнения прямого и очевидного долга: сражаться за отечество. И с меня достаточно простой солдатской службы. Иной карьеры не ищу.

Полковник откинулся в кресле. Теперь он был доволен. Ни один шпион не станет искать судьбы рядового стрелка на фронте.

– А вот это по-нашему! – сочувственно произнес древний кавалерист. – Обыскать вас все-таки придется. Но коли ничего крамольного не найдут, пожалуйста в харьковские казармы, господин приват-доцент. К корниловцам!

10 апреля 2005 года, Москва

История, которая привела меня в Корниловскую дивизию, началась рано утром в понедельник, и началось она ужасно некрасиво.

В тот день у меня ночевала Женя. Она оставалась с воскресенья на понедельник уже двадцатый или тридцатый раз. Я как-то не заметил, когда именно она стала для меня всем. Просто иногда так случается: ты понимаешь, что рядом с тобой женщина, которая подходит тебе во всем. Ты начинаешь фразу, а она заканчивает... ну, можно и наоборот. Вы читаете одни книги, смотрите одни фильмы, вы ровесники, и если кое-кому из вас хочется заполучить нечто помоложе в постель, то эти мысли быстро улечиваются, когда этот кто-то вспоминает, до чего же хорошо вы понимаете друг друга под одеялом. Да, вот еще какая штука: ее зубная щетка, тапочки и два тюбика с кремами давно живут в твоей квартире. Хорошо тебе с ней? Очень хорошо, очень уютно. По чему ты больше всего тоскуешь, когда ее нет рядом вот уже третий день? По ее милой болтовне? По ее... ну... ты понимаешь... нет? Другое? Верно. Ты

больше всего тоскуешь по ее присутствию. И ты готов забавлять и развлекать ее, делать ей подарки и нисколько не сожалеть о потерянной ночи, если вы пришли домой до смерти усталыми и заснули обнявшись, более ничего достойного не совершив.

Ты ее любишь? Ну, не знаю... Все-таки очень серьезное слово. Хочешь ли ты сделать ее своей женой? Ну, вроде бы... хотя... но с другой стороны...

И вот Женя спросила у меня – между чисткой зубов и утренним кофе – как бы я посмотрел на то, что она перевезет ко мне значительную часть своего гардероба. Все-таки на работу надо ходить в свежих вещах, не правда ли? А я замялся. Ведь позволить перевезти к себе женский гардероб это уже наполовину сыграть свадьбу. Все прочее представляет собой шлифовку ситуации. В общем, я солгал ей. Сказал, мол, не стоит торопиться. Тут как раз затевается ремонт, а стало быть, побелка потолка, переклейка обоев... Может быть, потом? Она кивнула. Она понимает. Она не торопится и не торопит меня. Она готова ждать. Она улыбается. Она шутит на прощание. И уходит до смерти огорченной.

А я сажусь и думаю, отчего же я на самом-то деле не совершил последнего шага? Какая блажь помешала? Все, вроде, нормально.

Какая блажь? Да очень простая. Если мы с нею соединимся, выходит, я бросил якорь. Отяжелел. Пустил корни. А мне всего-то двадцать семь. И я никто. Самый обыкновенный преподаватель истории в коммерческом вузе, на самой низкой ставке ассистента. Ни богатства, ни славы, ни карьеры, да бог с ними, просто ничего высокого в этой жизни у меня не было. И, может быть, не будет, если свяжусь сейчас с женщиной всерьез и надолго. А имелось ведь у меня «назначение высокое», еще года четыре назад я это так остро чувствовал! Мир вокруг меня пошел, сер, лишен благородства, лишен красоты, наполнен тупым пользотребием, воинствующим хамством, страна моя унижена... сделал ли я хоть одну попытку изменить все это? Ну, если не считать пары статей в университетской хилотиражке... Ничего я не сделал, все пребывал в ожидании: вот, придет некто и укажет цель... Глупость какая!

С того дня я сел писать учебник по своему предмету. Совершенно новый, экспериментальный. Лучший из всех, которые я знал. Когда учебник будет готов, я пушу на свою территорию Женин гардероб. Вот так.

Добравшись до главы о гражданской войне, я крепко встал. Современных качественных книжек не хватало. Приятель увлек меня идеей записаться в военно-исторический клуб, ведь тамошние ребята как раз реконструируют обстановку тех лет. Почему бы не записаться? Я начал ходить туда, и очень скоро эти визиты стали для меня чем-то вроде легкого наркотика. Работа над учебником отошла на второй план... Мне нравилась, как простые парни и девушки играют в рыцарство и благородство. Мне казалось: чем дольше продлится эта чудесная игра, тем чище останутся их души. Да и моя вместе с ними.

А потом один из них, не самый приметный, отвел меня в сторонку и задал три вопроса: «Вы что-нибудь слышали о Невидимом Университете? О чем вам говорит слово „хроноинвазия“? Угу, я так и полагал. Есть ли у вас устойчивое желание изменить этот мир к лучшему?»

И завертелось... Хотел карьеры? Тогда выбирай, кем лучше быть: ассистентом или диверсантом?

«...вы должны осознать весь риск вашего положения. Государство ничего не знает, и, я надеюсь, ничего не узнает о нашей деятельности. Мы – независимая патриотическая организация. Материальной вознаграждение не в наших принципах. А вот попасться на какой-нибудь мелочи можем... очень даже можем».

Пока я учился на хрооинвэйдора, диверсанта самой экзотической в мире квалификации, Женя стала бывать у меня реже. А потом еще реже. Ей не составило труда заметить, что потолок в моей квартире остается девственно-грязным, а старые обои в жирных разводах никуда не делись...

12 июля 2005 года, Москва, учебный комплекс Невидимого Университета

– Вы будете нашим плацдармом в тылу неприятеля... – Так говорил старший из четверки, затеявшей когда-то вторжение в русскую историю. – Откровенно говоря, ваше направление никогда не было единственным. Кое-кто отправится в XII век, кое-кто окажется в 20-х годах... Но ваша группа, дамы и господа, самая многочисленная. Если бы я мог все оставить здесь, если бы мне было двадцать пять, а не сорок, если бы я не был женат, я бы сейчас был среди вас...

Этого человека я про себя окрестил «основателем». Был он неопрятно толст, жидковолос, кривоzub. Одним словом, некрасив, дальше некуда. И говорил, постоянно прерываясь из-за одышки. Но было в его речах нечто завораживающее. Когда-то его действиями руководила мечта столь прекрасная, что несколько лет тупой, серой подготовительной работы, технические провалы, бессонные ночи, отчаяние, охватывающего каждого, кто видит, как первичный замысел, обретая плоть и кровь, обращается в создание кривобокое и неказистое, – все же не убили ее искристую сущность. Теперь он пытался заразить нас ею, и, кажется, у него получалось.

– Мы отобрали только тех, кто искренне верит в необходимость изменить мир. Перелистнуть без малого столетие назад, дабы выправить всю нестерпимую грязь, написанную историей в книге нашей цивилизации. Никто из вас не нашел для себя доброй судьбы в настоящем. Что ж, такова наша реальность, и такой оставаться ей не следует.

Люди смотрели на него горящими глазами. Да! Тут нет достойных судеб для нас. Тут одна только пошлость, серость, падение. Одна борьба с собственной совестью за обеспеченную старость. Ни красоты, ни величия, ни надежды. Будь оно все проклято!

«Основатель» говорил еще минут пять, и ему удалось потрогать нас за души.

Потом к маленькой трибунке подошел заместитель ректора по учебным вопросам. Этого нудилу мы видели почти каждый день. Сейчас заскрипит...

– Итак, ваше обучение закончено, – сообщил замректора. – Завтра утром, в десять ноль-ноль, у всей группы сбор в ангаре для последующей заброски.

На самом деле заброска начнется в полночь. Слова «завтра утром» предназначены для лишних людей, присутствующих в зале. Их всего десять из тридцати восьми свежеиспеченных бакалавров. Кого-то из них подозревают в работе на спецслужбы, милицию, бандитов, а у кого-то совсем худо с психологической устойчивостью. Завтра им скажут: по техническим причинам заброска отменяется. А на тот случай, если они явятся не одни, всю основную технику уже вывезут в к тому времени на другое место. «Не знаю я, глухая я, слепая я, старая я», – скажет непрошеным гостям бабушка-вахтерша. Нас готовили в спешке, нас выпускали полуготовыми к делу, поскольку ректорат почувствовал чужой взгляд на своем затылке.

– ...Мы не выдаем каких—либо дипломов или иных документов, свидетельствующих об окончании Невидимого университета...

Об этом нас предупредили в первый же день занятий. Но замректора – полная противоположность «основателю», человек худой, желчный, педантичный, страдающий, видимо, какой-то неприятной хворью, выкрасившей его кожу в цвета картонной тары, а губы превратившей в подобие двух выброшенных на берег медуз, – цедил казенными струйками бюрократию и дисциплину.

– ...о завершении вами учебного курса будет сделана пометка в секретной Протокольной книге. Кроме того, через пять минут вам будут выданы нагрудные знаки, соответствующие степени бакалавра хроиноинвазии. Руководство Университета просит вас не злоупотреблять их ношением. Ввиду обстоятельств, так сказать, о которых вы уже были оповещены. Перед получением нагрудных знаков вам следует расписаться в даче подписки о неразглашении у господина Вяхирева. Пройдите, пожалуйста, вон за тот столик...

– Погодите! Погодите... – прервал его «основатель». – Я очень хотел сказать вам, но не решался... Вас тридцать восемь человек. Вы будете третьей группой, заброшенной в прошлое. Остальные благополучно вернулись, ничего не добившись, впрочем, вы об этом знаете... Не о

том говорю. Вы меня простите... я сегодня как-то... не в своей тарелке... господа... ребята... если у вас всё получится, вы останетесь там, в белой России... Потому что вернуться вам будет уже некуда. Но если никто из вас ничего не сможет сделать... послушайте... не суйте головы в смертельные переделки. Лучше вернитесь назад. Вы здесь нужны, вы здесь понадобятся. Постарайтесь остаться в живых. Я... был в первой группе. Никто вам не сказал? Ладно... не важно. Цените свои жизни как можно выше, вот вам самый главный совет. Мы собрали Агрегат в тайне, угробив на это шесть лет и сто двадцать тысяч долларов. Мы не очень молоды и не очень богаты, лучше нам вряд ли что-нибудь удастся... короче говоря, мы своими руками разрушим Агрегат, хотя он и единственный в мире, да ладно... разрушим, поверьте... если вы не будете возвращаться.

– А как же ваша мечта? – спросил кто-то из зала.

«Основатель» отмахнулся и повторил:

– Возвращайтесь, пожалуйста! Помогите вам Господь...

Между 2005 и 1919 годами, камера заброски в экспериментальном комплексе Невидимого Университета

...На что похоже?

На болезнь. Никакого звукового оформления. Слышишь себя, свое дыхание, суету своего сердца. Глаза начинают слезиться – сами собой, без видимой причины. Ты почти не видишь тупой бетон потолка и красные надписи на стенах. Закладывает уши. Першит в горле. Зудит кожа. Ноют суставы, появляется тяжесть в голове. Куда ты попал? В какую пакость тебя втянули? Не разберут ли тебя на органы? Какой наркотой... почему как грипп... как воспаление легких... с ума сойти... память... сумрак... Становится... трудно дышать, почти... невозможно дышать, невозможно... дышать...

Молишься. Слова вспоминаешь с трудом, память отказывает.

Получаешь страшный удар, удар невозможный, будто одновременно пнули со всех сторон, каждую клеточку, каждый миллиметр кожи. Глаза сами собой зажимаются: тебе больно и страшно...

Провал. На секунду ты потерял сознание.

Жарко. Скулы овеивает ветер, но все-таки очень жарко. Открывай глаза, друг, тебе все еще страшно, но уже совсем не больно, пора открывать глаза. Дело сделано, не воротишь. Ты уже в другом месте, друг, кончай же ты праздновать труса!

Открываешь глаза.

Ты стоишь на сельской дороге с глубокими колеями, зной пудовой гирей давит на плечи, слева – поле цветущих подсолнухов, справа – кукурузное. Над головой – разверстый зев доменной печи. Горизонт видно только впереди, ведь подсолнухи, и кукуруза выше тебя. В точке, где два поля сходятся, бесконечная равнина прорастает фабричными трубами и церковными куполами. Там, на золотых простынях августа, раскинулся город.

Часть 2

Орел

29 августа 1919 года, в поезде между Харьковом и Курском

Недолго меня учили солдатскому ремеслу. Правда, в другой жизни я отслужил два года срочной службы и знал хотя бы, как не убить ноги косо намотанными портянками. В течение нескольких суток я тыкал в чучела штыком, ходил строем, немножечко стрелял – на множечко просто не было боеприпасов, – да вникал в основы субординации. Впрочем, как раз субординация тут была совершенно особенной. Верховодили те, кто уже вдосталь повоевал за белое дело. В салагах ходили равно те, кто пороху не нюхал, и опытные офицеры, не изъявившие желания прибыть на Юг раньше. Например, год назад... или полтора года назад...

С подозрением поглядывали на тех, кто успел отслужить хотя бы неделю в беспогонных войсках товарища Троцкого.

3-й ударный Корниловский полк должен был носить знаменитую форму, общую для всех корниловских отрядов: черные офицерские мундиры, черно-красные погоны с большой буквой «К», фуражки с красной тульей, черным околышем и белым кантом... Ничего этого нам не досталось за исключением погонов, да еще особенных нашивок, изображающих череп с костями. Особые корниловские фуражки получили только «старики», прочим сказали: «Сначала заслужите!» Но, кажется мне, их просто не нашлось в необходимом количестве. Да и мундиры оказались самыми обычными по цвету, офицерам не досталось ни единого черного. Правда имелась между выданными мундирами очень существенная разница: одни были недавно сшиты из грубого мешочного материала, а другие получены от англичан. Мне достался английский, чему я несказанно радовался, пока не увидел английские же сапоги... из пары-сины. Какая дрянь! Для наших-то грязниц. Недели через две, правда, мне представился случай поменять их на нормальные; иными словами, я снял их с убитого, как это делали все. Сначала меня смущал запах чужого человека, потом и он выветрился. А что? Война.

Не успели мы как следует перезнакомиться, как пришло время отправляться на фронт. Наш взводный командир, подпоручик Алферьев, веселый щеголеватый парень двумя годами моложе меня, и на вид сущий вертопрах – фуражка лихо заломлена, хаос русых кудрей выбивается из-под нее во все стороны, из мундира создано произведение искусства, – в общем, бубновый валет, а не офицер, оказался человеком сметливым и энергичным. Для нашей теплушки он раздобыл сенца побольше, сухарей и даже несколько кусков пахучего английского мыла.

– Кормило вас интендантство? Кормило. Одевало? Ну, более или менее... Кто будет кормить вас на фронте? Благодарное население, ибо походные кухни обычно догоняют в то время, когда в них уже и надобности нет. А благодарность населения может быть выше всяческих похвал, может быть... как обычно и даже совсем тощей. Значит, будьте запасливей, друзья!

В полку держалась твердая дисциплина, но она основывалась не на муштре и уставщине, а на общем понимании, что делать надо, а чего не стоит. Иначе и быть не могло: каждый третий – фронтовик, каждый четвертый – офицер. Кроме Алферьева во взводе оказалось еще четверо офицеров: подпоручики Вайскопф и Карголомский, решившие записаться в корниловский полк совсем недавно, в Харькове, прапорщик Туровльский, насильно мобилизованный и обозленный тем, что попал на должность рядового стрелка, а также поручик Левкович, взятый нашими в плен, раскаявшийся и принятый на службу точно так же – простым солдатом. Поручик понимал, чему обязан столь скромным положением в белой армии, и не роптал.

Меня поразило, с каким спокойствием отнеслись к службе на положении солдат Вайскопф и Карголомский. Были они во многом похожи друг на друга: оба невысокие, сухопарые, жилистые, у обоих «архитектурные» лица, исполненные аристократичной, «регулярной» кра-

соты; к тому же оба молчание предпочитали болтовне. Только один – альбинос, а другой – черныш. Долгие разговоры они вели в одном случае: если беседа переходила на родословные. Карголомский оказался Рюриковичем в каком-то сумасшедшем колене и с гордостью говорил о своих предках: «Белозерский княжеский дом»... Вайскопф, обрусевший до трехэтажных языковых конструкций, тем не менее, мог похвастаться остзейским баронством. Князь Георгий Васильевич Белозерский-Карголомский, барон Мартин Францевич фон Вайскопф и прикнувший к ним Денис Алферьев, у которого, оказывается, предок был думным дворянином и печатником при дворе Ивана Грозного, не водились со спесивым Туровльским, потомком однодворцев, да и Левковича не жаловали. Ждали, как он себя проявит в боях, а там уж и о предках появится смысл побеседовать. Но, как ни удивительно, к прочим солдатам они относились ровно и дружелюбно. В теплушке рядом со мной устроились те, с кем я успел подружиться. Двадцатитрехлетний Ванька Блохин – огородник из-под Ростова Великого, семнадцатилетний Андрюха Епифаньев – недоучившийся студент из Казанского университета, четырнадцатилетний Евсеичев – бывший московский юнкер, принятый в полк, кажется, по одной причине: мальчишке было просто некуда деться. Таких зябликов я видел тут полно. Наверное, им и впрямь лучше отправиться на фронт вместе с нами, чем беспризорничать и опускаться на дно. Евсеичева мы звали Андрюшей – надо же как-то отличать его от Андрюхи... И еще с нами был Миша Никифоров... офис-менеджер из Росбанка, мой коллега хроноинвэйдор, попавший в Харьковские казармы на час раньше меня. Другой коллега, Яша Трефолев, едет на фронт в нашем же полку, только в другом батальоне. Добрались со своими советами до генерала Деникина, голубчики? Ох, добрались... В первый же день.

Да-с. Поезд тютюхал, пронизывая жареные августовские пространства, кто-то спал, кто-то в карты играл, кто-то грыз сухари, кто-то поминал баб самыми черными словами. А меня разбирала жажда действия. Как же так? Нельзя же совсем ничего не предпринимать? Что мы такое? Три влипших в солдатчину хроноинвэйдора, три лишних корниловских штыка, много ли мы изменим в Великой войне, пуская пули в сторону Совдепии? Я маялся, не находя способа всерьез подтолкнуть дело. Наконец, я решил хотя бы подбодрить тех, кто рядом со мной. Начал я издадека. Водил так и сяк, пока не вывел на вопрос:

– Все это хорошо. Но все мы попали в одно место, на сено в теплушке. Поделитесь, отчего каждый из вас воюет по эту сторону фронта?

– От... доцент приватный! – усмехнулся Алферьев. – Что ни слово, то все золото перо.

– Я-от воюю потому как свычно мне. Три годка с хвостиком уже воюю. На землю вертать неохота... – первым ответил Ванька. Он где-то раздобыл молоток и маленькие гвоздочки, и теперь примеривался, как бы половчее пристроить металлическую подковку к каблуку. Идея, кстати, богатая. Надо будет тоже озаботиться подковкой...

– Я – что? Мобилизованный. Жил бы тихо... – заблеял было Туровльский, но наткнувшись на строгий взгляд Вайскопфа, немедленно заткнулся.

Левкович молчал, с ним все понятно. Сам Вайскопф глубокомысленно сказал:

– Нам, знаете ли, следует противостоять магнэтизму хаотического.

Полагаю, никто его не понял.

Бывший юнкер гордо вздернул подбородок и срывающимся голосом принялся стыдить присутствующих:

– Господа... да о чем же вы? Как же вы... Тихо жил бы... Ведь мы здесь воюем за веру, за покойного государя... за... династию... так ведь? Мы против злодеев, против грядущего хама... мои товарищи... в Москве... погибали в борьбе с большевиками... у гостиницы «Метрополь»... В соседнем вагоне едет прапорщик Беленький... он... он... в Москве боевую рану получил! Да мы же Россию защищаем!

И тут заговорил Никифоров с лицом суровым и светлым. Он шпарил наизусть то ли Солоневича, то ли Ильина о незыблемости сакральных основ монархии. Я заслушался. Вот – человек!

Когда он прервался, желая перевести дыхание, Ванька Блохин, ловко вбив очередной гвоздик, откликнулся одним философическим словом:

– Вона! – и губы изогнул так, чтобы всем было видно, как уважает он Никифорова за его необыкновенную ученость. А потом вбил еще один гвоздик.

– Но я вот за Учредительное собрание, – тихо сказал Епифаньев.

Все уставились на Андриюху. «Зяблик» с бешенством в глазах бросил ему:

– Ты что? С ума соскочил?

– Но я ж ведь... против... большевиков... – неуверенно произнес Епифаньев. Видно было, как хочется ему сложиться наподобие перочинного ножика и прятнуть в самый темный угол.

– В горах был ранен в лоб, сошел с ума от раны, – вяло прокомментировал Вайскопф.

– Но я... хотел бы... насчет социальной правды... мне...

– А я тебя за человека считал! – убийственно прищурившись, оборвал его Евсеичев.

Туровльский почел за благо вмешаться:

– Но позвольте, господа, у меня тоже есть определенные воззрения. И Учредительное собра...

На него зашикали сразу трое или четверо. А потом заорали в голос. Перебарывая все шумы могучим тевтонским басом, Вайскопф задал мне вопрос:

– Ну а ваша милость из каких соображений завербовались?

Ох, не ожидал такого поворота.

Я почувствовал себя раритетным идиотом из музейного запасника. Скорее всего, из Кунсткамеры. На язык просилась невнятная рыцарственная дребедень. В голове – каша. Демосфен, мать твою. Жорж Дантон и Мартин Лютер Кинг, мать твою. Пламенный пропагатор, одним словом!

Меня спас Алферьев, с добродушной строгостью сказавший:

– Закрой-ка рот, черт жженный. Хватит болтовни. Эх, мало вас цукали.

* * *

Первый раз я участвовал в бою под Сумами, у деревни Речки, и от страха плохо понимал, что происходит. А потом ничего, втянулся. Начал соображать...

5 сентября 1919 года, станция Коренево в окрестностях Льгова

Бой за станцию Коренево я помню отчетливо. Стояла теплынь, по такой погоде гулять бы с барышней по лесным полянам. С Женей, с Женей моей...

Еще утром я не понимал, сколько стоит жизнь человеческая, а к вечеру это недоброе знание уже наполнило мою душу печалью.

* * *

...лежим в овражке, пересекающем нескошенное поле ржи. Мне с Евсеичевым и Вайскопфом досталось удачное место: прямо перед нами – бугорок, он принял своей земляной плотью не один килограмм свинца. Повсюду разбросано осыпавшееся зерно.

Андрияша задумчиво грызет сухарь, Вайскопф плетет соломенных человечков, а я перематываю портянку. Час по полудни, бесстрашные вороны кружат над полем, солнце закрыто каменной ватой облаков. Мы дважды ходили в атаку, потеряли ротного командира. На третий

раз цепь легла в неглубоком овражке, ровно на середине между исходным рубежом и станцией, откуда бойцы Реввоенсовета поливали нас из пулеметов. И через минуту, быть может, нас опять поднимут. Но сейчас я перемотаю портянку, и хоть весь свет кричи мне в ухо: «В атаку, вперед, ура!» – до того не поднимусь. Пока проклятое тряпье стоит в сапоге колом, это не жизнь.

Тут же, рядом с нами, прапорщик Беленький из соседнего взвода нервно вытирает шею платочком.

– Странно, должны были скосить еще на Успенский пост... – замечает он.

– Сегодня это Марсово поле, а не Деметрино, прапорщик. И вчера так было. И позавчера. А может быть, и месяц назад, – откликается Вайскопф.

– Сколько жизней оно сегодня спасло... – говорю я.

Евсейчев кивает. Тут ведь не поспоришь! Если бы не высокие хлеба, рота легла бы в первую же атаку.

Пули то и дело тенькают, ударяя в землю. Наша батарея бойко перестреливается с вражеским бронепоездом.

– Друзья мои! Нам надо благодарить Бога за то, что их краском... – Вайскопф энергично ткнул пальцем в небо над станцией, – ничтожество и дурак. Иначе это поле давно погубило бы нас.

– Но как? – интересуется Беленький.

– Для нашей ресторации большая честь выполнить ваш заказ, мсье! Чело-э-эк! Мсье желает новых импрэссий... – Вайскопф угодливо осклабился. – У нас превосходные, проверенные рецепты: обратите внимание, куда дует ветер... В сторону эксцессеров, облаченных в худо скроенные мундиры, не так ли? Остается добавить огоньку и подождать, пока мясо не покроется румяной корочкой. А теперь... внимание... прошу внести горячее! Новинка сезона, мсье! Жареные корниловцы под соусом из белого дела.

– Какая мерзость, подпоручик! – отвечает Беленький.

Слева от нас нарастает необычный гул. Барабанный бой? Военный оркестр? Что за притча!

– Дроздовцы, – сообщает Вайскопф, выглянув из-за бугорка. – О! Сдается мне, целый батальон подняли в психическую атаку. Давно такого...

– Психическая атака? – перебивает его Беленький.

– Извольте видеть! С музыкой, при развернутых знаменах, в полный рост. Завидую! Словно молодые боги на заклятие титаническим силам.

– Как идут! Как они идут! Вот это люди! – испускает Евсейчев восторженный клич. Он не преминул высунуться, и теперь пожирает поле глазами.

Вокруг нас перестают ложиться пули. Замолкает пулемет. Теперь «товарищам» не до залегшей цепи, и мы можем вздохнуть свободнее.

– Молодой человек, – раздумчиво говорит Вайскопф, положив руку Евсейчеву на плечо, – существует немало способов самоубийства. Война предлагает благороднейшие из них.

Не могу удержаться.

Осторожно выглядываю из-за пригорка и вижу: густые цепи стрелков в белых фуражках с малиновым околышем медленно бредут по полю, то и дело напарываясь на черные плюмажи взрывов. Злой стрекот пулеметов весь сконцентрировался там, против них. А они всё не прибавляли шаг. Упало знамя дроздовцев и вновь поднялось. Опять упало, и опять кто-то подобрал его. То один, то другой ударник оставался лежать на земле.

Мне стало ясно: иногда психические атаки до такой степени пугают красных, что они снимаются с позиции, убоявшись неприятельского презрения к смерти. Но сегодня дроздовцы не смогли их пронять. И гибнут сейчас напрасно, десятками жизней выплачивая цену великой

гордыни. Не захотели они видеть в «товарищах» врага, достойного их самих, а «товарищи» не устают нажимать на курки...

И сколько нынче стоит жизнь стрелка в цепи?

– Да они ведь так не дойдут до станции! Их положат в поле!

– Не дойдут, – спокойно согласился со мной Вайскопф. – Но приказ выполняют. Это дроздовцы.

– И погибнут как герои, не утратив чести! – воскликнул Евсеичев.

Беленький с желчью в голосе добавил:

– Ну да, мой друг, именно так и будет, если кто-нибудь из их командиров не утратит фатального идиотизма... и не отдаст им приказа лечь!

Вайскопф высокомерно бросил в ответ:

– Что вы понимаете в Рагнарёке, прапорщик...

Пуля щелкнула по земле, подняв фантанчик пыли. Туровльский, залегший рядом с Беленьким, вскрикнул.

– Вы ранены? – я подскочил к нему с желанием помочь, перевязать, если надо. После «Рагнарёка», после картины гибнущих дроздовцев, я испытал приступ жгучего упрямства: нет, война, нет, гадина, не надо тебе забирать людей почем зря, что бы ты себе не вбила в голову! Они тебе не гнилая сарпинка, которой грош цена в базарный день! Они...

Туровльский смеется.

– Господа! От красных одно разорение. Вот, убедитесь: продырявили штаны и в щепы разбили ложку...

В руке у него – исковерканный черенок и чашечка деревянной крестьянской ложки (отдельно), да еще пара мелких щепок.

И тут Алферьев поднимается во весь рост, выходит шагов на десять перед нашей спасительной ложбиной и поворачивается к нам лицом. Взводный стоит на открытом, простреливаемом месте.

– Калики! А ну, вперед! Встали, барбосы, встали! Разлеглись, лежебоки! Разнежились! Встать, я сказал! Встать! И за мной...

С этими словами он вынул револьвер из кобуры и направился к станции. Алферьев передвигался быстро, почти бегом. Вижу, встает Беленький, бормоча слова молитвы. До меня доносятся: «...помилуй мя, грешного...» Встает Епифаньев, жестоко матеря все на свете. Поднимается, пожевывая травинку, Вайскопф. Блохин поправляет на себе форму, словно перед танцами, и устремляется за ними. Больше всего на свете опасаясь отстать от своих, я торопливо семеню им вслед, а рядом уже и Никифоров, и Евсеичев, и Туровльский... За спиной у меня сбивчивое дыхание, какой-то тупой астматик, прости Господи, наступает на пятки, дома бы сидел, не совался бы болезный цепи нет никакой цепи нет наверное хочет пробежать поле, пока «товарищи» крошат и колошматят залегших дроздовцев быстрее как можно быстрее еще не стреляют где спина Вайскофа это кто это Блохин цепи нет в обойме всего два неотстрелянных патрона почему не кричат ура цепи нет какая тут цепь.

Бац! Поле кончилось.

Между нами и ближайшими домами Коренева шагов полтора. Всего несколько мгновений вижу я фигуры красноармейцев. До них вдвое меньше. Кажется, до сих пор они не замечали нас. А тут вскидывают ружья... Они сделали всего несколько выстрелов. Евсеичев заорал: «Ура-а-а-а!» – Блохин подхватил, а Вайскопф принялся швырять гранаты. Я бегу вперед, спотыкаюсь, смотреть надо под ноги, опять спотыкаюсь, болотце какое-то, неудобно... чье-то тело... Смотрю вперед. Бегут серые силуэты. Те, кто поближе – наши, те, кто подальше – красные. Надо же, все утро стояли, как скала, и вдруг за минуту сдали позицию... Выпускаю один за другим оба патрона. Останавливаюсь, чтобы перезарядить трехлинейку. И тут вода в болотце, которое я только что форсировал, поднимается столбом, меня бросает наземь.

Тряся головой, поднимаюсь на одно колено и перезаряжаю винтовку. Из-за дома выходит матрос, корабельное имя «Сметливый» у него на бескозырке, он целится в меня из пистолета. Откуда он взялся? Между нами нет и двадцати метров... Он почему-то медлит... Пальцы мои, чудесно обученные ружейной премудрости в Невидимом университете, моментом вбивают обойму как надо, я отпрыгиваю в сторону, качусь, стреляю в матроса... куда он делся? Еще раз стреляю *в то место, где он только что был*. Убит? Нет, пропал и не видно его.

Осторожно двигаясь по пустынной улице, я добираюсь до путей. Станционное здание горит, дым тяжкими гуашными клубами стелится по платформе. Красный бронепоезд медленно пятится, пятится, пушка его молчит, молчат пулеметы, наверное, зацепили его наши артиллеристы. Вот он уже в полуверсте от станции. Безобразные короба бронепозда, лязгнув, застыли.

Я стою один-одинешенек на перроне. Ни наших, ни «товарищей». Солнечный свет скуными прядями просачивается сквозь облачную толщу, дым ест очи. На рельсах, в отдалении, – два мертвеца, отсюда не разобрать, – корниловцы или красные. Очень тихо. Вдалеке погромыхивает, а тут ни одна тварь не шевелится, всё застыло, всё пребывает в неподвижности. Ни ветерка, ни выстрела, ни крика. Лишь челюсти пламени вяло шевелятся, поедая грязно-коричневую тушу вокзала. Станция будто вымерла.

Я потерял своих. Я не знал, куда мне идти.

Мне трудно стало дышать. Стихия войны обступила меня со всех сторон, поднялась над головой, забила ноздри, сдавила грудь. Я тонул в ней. И хотелось бы выплыть, спастись от нее, да куда? Где тут берег? На версту под ногами – холодная глубина. Ледяная ее темень, будто серная кислота, растворяла невинность моей души.

У самого перрона стоял клен в багряном венце, халате из золотой парчи и зеленых бархатных шароварах. И я зацепился за него взглядом. Ах, как хорош был этот клен, кажется, я никогда не видел ничего прекраснее.

В те секунды я всем сердцем поверил: этот клен – остров посреди моря войны, он меня ко дну не пустит...

Тотчас под царь-деревом появилось трое ударников. По выражению их лиц и по неспешности шагов я понял, что дело сделано, больше в атаку ходить не придется. Хорошо. Хорошо...

Серая громада бронепоезда харкнула огнем.

Рвануло у самых корней клена. Он покачнулся, взметнул ветви и начал медленно рушиться в пыль, поднятую взрывом.

– Господи! – вскрикнул я в ужасе. – Господи...

Неожиданно падение великана прекратилось. Пыль осела, и я увидел три трупа, а также вывороченный из земли корень. Остальные корни удержали накренившийся клен от падения. Как видно, глубоко сидели они в земле.

* * *

Вечером Блохин и Епифаньев влили в меня столько самогона, что я, наконец, вернул себе здравый ум.

Почему тогда не выстрелил матрос? Пожалел меня? Вряд ли. Не успел прицелиться? Но у него было времени хоть отбавляй. Вернее всего, он просто был напуган боем, перестрелкой на дуэльном расстоянии, всюду чудились ему враги – спереди, сзади, за соседними домами... Нажал бы курок, и воскокожая костлявая бабушка с остро отточенной железкой выкупила бы мою жизнь ценой пули.

Впрочем, нет пользы в этих рассуждениях. Много встретилось мне премудрости в сегодняшнем дне, и еще того больше страха, давившего и корежившего мою душу. А осталась после

всего одна простая, незамысловатая правда: мы взяли станцию Коренево, множество наших погибло, а меня смерть не взяла.

Не переживай, солдат! Не думай много, и пуля тебя не заметит.

Жив, цел, и спасибо, Господи! Уберег...

Вторая декада сентября 1919 года, город Фатеж

– ...поручика Левковича... подлечился... ранения?

– ...не ждать в полку... не вернется... занят.

– То есть как...

– ...Усадьба под Курском... местечко... нанял четверых головорезов... разбираться с крестьянами...

– ...не вовремя, да и глупо...

– Это хуже, чем глупость, это эгоистический характер. Либо мужики пристрелят его там, либо он сделает так, чтобы они начали стрелять нам в спину.

Дверь, истошно скрипнув, отворилась пошире – сама собой, под действием ветерка. Теперь я мог расслышать каждое слово.

Вайскопф снял фуражку и вытер пот со лба. Глубокомысленно почесав подбородок, он изрек:

– Да-а... лебеда-а...

– Именно-с. Неразрешимая коллизия. С одной стороны, я могу понять его, но с другой – кое-что возратить невозможно, как прошлогодний снег. Время переломилось, голубчик.

И прапорщик Туровльский получил от Вайскопфа еще одну «лебеду». Должно быть перед умственными очами барона сейчас поворачивалась, маня соблазнительными округлостями, какая-нибудь, прости, Господи, куриная ножка. Или миска с кашей. Или просто сухарь, дубовый армейский сухарь, успевший раз пять подмокнуть, нещадно, до зубовредительства, высушенный, серовато-бурый, мука-пополам-с-дрянью-всех-сортов, удивительный, сладостный сухарь, съеденный еще полдня назад, на ходу, последний, заветный... И катился бы поручик Левкович с мужиками и усадьбой хоть в Лондон, хоть в Тифлис, к чему сейчас этот поручик Левкович? Только сбивает с мыслей о действительно важных вещах...

– ...подумай сам, голубчик, как нам правильно поступить с мужиками? Ведь как бы ни повернулось, а земли-то не удержать. Или все-таки...

– Да-а... лебеда...

Армейский сухарь – он как солнце. Нет его, и повсюду тьма крошечная, а есть он рядышком, хоть бы в кармане шинели, то вот тебе и тепло, и с востока свет.

На следующий день, в окрестностях города Фатеж

Последнюю неделю что ни день, все рядом со мной оказывался Никифоров. То подойдет спросить о какой-то ерунде, то заведет разговор о святой и желанной Москве, то понадобится ему солдатская обиходная мелочишка, пуговица или, скажем, бархотка для чистки сапог... Это потом мы о бархотках забыли, а первое время все до единого пытались выглядеть щегольски, хотя бы и в той мешковине, которую напялило на нас интендантство. Правда, получалось это лишь у троих: Алферьева, Евсеичева и Вайскопфа. У человеческих душ есть непостижимо сложная классификация, начертанная рукой Высшего Судии. Увидеть ее – всю, целиком – людям не дано. Никому. Разве лишь древний Адам, бродивший по райскому саду прежде грехопадения, мог видеть и знать такое, чего нынче не увидит и не познает целый институт философии. Но маленький кусочек высокого знания может открыться любому человеку, хотя бы и самому простому. Вот мне и открылось: существуют специальные военные души; им походы и сражения милее мира, и армейская форма на таких людях всегда сидит, как литой доспех на статуе кондотьера. В нашем взводе – три военных души.

Полуночь я сидел на лавочке у хаты, закинув ногу за ногу и положив тетрадку с первыми страницами дневника на бедро. Химический карандаш затупился, буквы выходили толстые, неровные, писал я медленно и все время переводил взгляд от неровных строчек повыше. А повыше тянулось к дальнему лесу чистое поле, ошетилившееся соломенно-бурой стерней, да косогор, весь в меленькой желтизне дикой редьки, да выбеленная солнцем сельская дорога, да темное железо прудов у соседней деревеньки, косо перечеркнутой кольями нашего плетня. Не хотелось мне выводить буквы на бумаге, лучше бы я любовался полем и слушал птиц, а еще лучше пошел бы к колодцу, набрал там сладкой ледяной воды и напился вволю.

Но я считал важным зафиксировать вчерашнюю дурость поручика Левковича.

Совсем недавно у меня появилась странная уверенность: необходимо запоминать все увиденное и услышанное, каждое слово, каждый жест, каждый поворот головы, каждый выстрел. А лучше – не запоминать, а записывать. Мое дело – вести анналы самой страшной русской войны. Но для кого? Зачем? Не понимаю. Надо, и все тут, ничего рационального, одна интуиция, то ли мистика. Будто евангелист Иоанн, шепчет на ухо слова грядущего: «Иди и смотри!» Я подчиняюсь, иду и смотрю... Тогда евангелист Марк, прямой и честный, как солдат, никогда не изменявший долгу, шепчет с другой стороны: «Не лги! Пиши так, будто Христос заглядывает тебе через плечо!» И я не лгу.

Рядом со мной, на той же лавочке, сидит Никифоров. Он выпросил у меня иголку с ниткой и теперь неумело починяет гимнастерку. Дырища на спине расплзлась во все стороны: тонкий материал, истончившийся от пота, да и сам по себе не лучшего качества, через неделю будет разрезан нитками, если только я, по неопытности, не переоценил его долгожительство.

Миша Никифоров очень стесняется обобщить труп. Но он непременно сделает это, поскольку иголка и нитка – плохие помощники в его беде. Неприкаянный человек, Никифоров ничего не умел делать руками, ни к кому не умел прибиться, говорил все больше невпопад, одевался неряшливо, то и дело сажал на гимнастерку пятна. Выручала его дивная неприхотливость. Он мало ел, мало спал, неделями ходил в дырявом, нимало не беспокоясь. Там, в далеком 2005-м, он так и не научился водить семейный «мерс», купленный на его деньги и доставшийся после развода жене: она-то вертела баранку как заправский Шумахер... Никифоров жил в старой однокомнатной квартире, получая несметные, с точки зрения среднего россиянина, суммы. Деньги растекались на сущую ерунду, да он сам не мог понять, куда, когда и на что... Миша был необыкновенно хорош в главном: он гонял со счета на счет миллионы долларов, и банковское начальство с восторженным хрипом подсчитывало результаты его игр. Кроме того, он представлял собой пример утонченно-красивого мужчины: грацильный, долговязый, высоколобый, Никифоров отрастил интеллигентскую бородку, не прилагая к тому никаких усилий, даже не ровняя ее ножницами; в задумчивости он становился похожим на человека, решающего, быть или не быть этическому императиву, хотя бы и размышлял на самом деле о соленых огурчиках; вандейковские руки в путях вен, длинные «аристократические» пальцы... Женщины сами находили его, соблазняли, пугались и оставляли. Он воспринимал неожиданных первопроходцев своего мира как проявления водяной стихии: сегодня дождь, а завтра снег, нужно бы надеть галоши, но вечером сменить их на коньки: по соседству есть чудный каток и непременно случится мороз...

– Послушай, тезка... мне так неуютно здесь. Разве что с тобой потреться, или к Яшке Трефолеву сходить, или к Саше Перцеву... Ты бывал когда-нибудь в пионерском лагере?

– Приходилось.

– А помнишь то ощущение, когда автобус уехал, родители невесть где, а ты остался один в компании сердитых парней...

– ...причем все они друг друга знают, только ты тут чужак, – договорил я за него.

– Вот видишь! Ты все отлично понял!

Грешным делом я подумал: не с педерастом ли свела меня судьба? Если ты в пионерлагере один, ни земляков, ни знакомых нет, то у тебя только два способа достойно устроить свою жизнь. Во-первых, набить кому-нибудь рожу безо всяких причин: тогда все само собой устроится. Это лучший способ. Во-вторых, просто плюнуть и не переживать. Это способ похуже, но тоже подходящий. Если же ты настроился тосковать по маме с папой до конца смены, остальные непонятным образом почувствуют неуют в твоей душе и примутся шпынять тебя на каждом шагу. Тогда опять-таки всплывает способ номер один... Из пионерского детства восстает сияющая истина: либо ты осознал благодетельность одного из правильных маршрутов и числишься нормальным парнем; либо не осознал, и тогда опять одно из двух: ты чухло или ты заготовка под голубого. Такова правда.

Голубой Никифоров или чухло?

Скорее, все-таки, чухло. Из чухла вырастают вполне нормальные мужики, а Миша вместе со мной под пулями ходил и цепь держал ровно.

– Я пока ничего не понял, Мишка.

– Ну-у... как бы тебе получше объяснить... Мы не нашли тут того, что искали. Даже хуже. Мы совершили действие, а результат вышел с точностью до наоборот, если сравнивать с запланированным.

Здесь-то он меня и зацепил. Я ведь с самого начала, с первого дня решил: не переживать, и точка. Дело сделано. Однако посасывает меня какая-то дрянь, жить спокойно не дает. Неудобно мне в девятнадцатом годе. Слов нет, до чего неудобно! И отсутствие материального комфорта тут не главное. Да, я целую декаду привыкал к тому, что горячая вода встречается здесь, как зверь из красной книги: в виде исключения. И целых две недели приучал себя к отсутствию телевизора. Еще труднее оказалось смириться с простотой санитарных условий. Унитаз в походных условиях один на всех – лес зеленый. И на привале несколько десятков человек разом устремляются к ближайшей опушке, да и присаживаются на корточки, стянув портки. Сидят-посиживают, обмениваются шуточками, дразнят друг друга. Те, кто попроще, кого война успела околдовать, и до опушки не доходят: какая разница? завтра пулю схлопочешь, так перед кем стесняться нынче? А я стеснялся аж недели три. Белый керамический друг, да раздельный санузел, да еще туалетная бумага вместо лопухов показались мне раем небесным. Я еще бесконечной ходьбы нашей не поминаю, к ней вообще привыкнуть невозможно... Однако не в подробностях военного быта загвоздка. Мы родом из шестидесятых-семидесятых. Наша цивилизация в смысле материального комфорта не так далеко ушла от начала двадцатого века, чтобы нам, хроноинвэйдорам, тяжело было привыкать к иной реальности. Война всегда приносила скудость, напрасные труды, грубость нравов и тьму жертвоприношений на алтаре смерти. В сущности, мы и к этому были готовы... Но одного мы не знали и не чувствовали: он – топ-менеджер банка, я – преподаватель, Трефолев – журналист не последнего разбора, так вот, мы все, пребывая в солдатском звании, в еще меньшей степени способны здесь, в России девятисот девятнадцатого, изменить что-то, по сравнению с Россией две тысячи пятого. Похоже, мы сами с собой сыграли злую шутку, сами себя облапошили...

– Тезка, мы все уходили, оставляя что-то недоброе, там, в будущем. Я, например, оставил бессмыслицу. Одну оставил там, другую нашел здесь... Толку-то.

– Миша, – отвечаю я голосом убежденного в своей правоте человека, – мы могли уйти или остаться. Ты остался и я остался. Как ты думаешь, почему? У нас есть надежда поймать тот невероятный шанс, когда наши знания о прошлом все-таки заиграют, и мы...

Он перебил меня:

– Да ни Боже мой! Что-то есть в этом уповании фальшивое. А остались мы по одной причине: приглядываемся. Если просто уйдем отсюда, второго шанса уже не будет.

– Как знать.

– Да так и знать. Мы все серьезные люди, тяжелые на подъем. Ни одного двадцатилетнего. Большинству из нас здравый смысл не даст пойти на новую заброску.

Он привирал, не так ли? Что я недоброго оставил там, в будущем? Глупости, все у меня там нормально. Абсолютно. Нечего даже и думать об этом.

– А может быть, нас мучает самолюбие, – продолжал Никифоров, – Не хотим самим себе признаться в поражении... Ведь мы...

Тут уж я перебил его:

– Не ной! Хватит. Мы здесь ради дела! Шанс есть... Точнее, никто не знает, есть он, или нет, а мы с тобой в наступающей армии, и любой удачный выстрел в авангардной стычке может изменить всё.

Он пожал плечами в знак сомнения.

– Ну разве что... Ты же понимаешь, я готов *тут* на какие угодно штыки ходить, лишь бы *там* вышел толк.

– Я понимаю. Просто иногда бывает нам тяжело.

Этим дурацким разговором Никифоров поднимал со дна моей души муть, обрывки неприятных мыслей, которые не хотелось додумывать до конца. Я и сам, по правде говоря... из неприкаянных.

Вот ведь заклинило человека, и он отправился клинить других!

– Лучше расскажи, от какой «бессмыслицы» ты удирал сюда.

Он поморщился. «Да Господь с тобой, милый друг, неужто не знаешь, в какой сплин могут вогнать ум и бессилие, соединенные в одном человеке», – словно говорило его лицо.

– Тетка, а какой *там* смысл? Из чего *там* состоит жизнь? Заработать денег и что-нибудь на них купить... смысл-то в чем? Где он? И ничего переменить невозможно, хоть волком вой...

– Там и здесь Бог один.

– Ну да, ну да... А жизнь все равно состоит из пастбища и стойла. Здесь хоть не такое однообразие. Ты знаешь, я когда-то мечтал стать истинным европейцем. Как ты думаешь, какое место в городе крутит и вертит жизнью истинного европейца, словно детской игрушкой?

– Работа?

– О-о-о... нет. Нынешний европеец представляет собой существо ленивое, к тому же четко разделяющее понятия «хорошо», «интересно», «нравится» и «работа». Все лучшее начинается в обеденный перерыв и продолжается *после* работы. Имя этому самому лучшему – кафе. Или пивной бар. Там можно передохнуть за кружечкой пива или чашечкой кофе. Там можно почитать газету. Там можно обговорить детали сделки. Туда приглашают на первое свидание, да и на второе, третье, пятое... Там встречаются, чтобы поболтать с приятелями и подружками. Там объясняются в любви и делают предложение. Там получают инфаркт от последней чашечки кофе или последней кружечки пива. И даже когда нет никакого повода пойти в кафе, европеец идет в кафе. Он ходил туда всю неделю, но на уикэнде почему-то отправляются туда же. И он сидит у окна или под зонтиком на улице и задумчиво пьет кофе. Вид у него такой, будто внутри дух взбирается на невиданные высоты, а чашечка кофе – ерунда, предлог сесть и предаться размышлениям о судьбах мира и тайнах души...

Тут мне представился Миша Никифоров, одетый пидажно и галстучно, сидящий в кафе, да потягивающий кофеёк с видом истинного мудреца. О соленых он на самом деле огурчиках думает или не о соленых? Или даже не об огурчиках?

– ...а на самом деле мысленно сводит баланс доходов и расходов за неделю...

Какая же я тетеря! Огурчики... Люди о серьезных вещах размышляют.

– Тетка! – восклицает вдруг Никифоров таким трагическим голосом, что сладкоголосый певун, мирно выпасающий наседок, тревожно вскидывает гребешок, решая вопрос: опасные мы люди или просто шумное хулиганье? – Тетка! Ведь смертная же скука – быть истинным

европейцем! Да и довольно дорого. Со временем ловишь себя на противоестественным мыслях: как бы сделаться из начальников управления начальником департамента? С такими-то деньгами можно посещать кафе города Рима или города Парижа... Ка-акая пакость! Знаешь, когда у меня все переворачиваться начало?

– Нет.

– Хочешь, расскажу?

– Да в общем-то, тоже нет...

– Вот и отлично! Слушай же. Поехал я как-то в Мадрид – бессмысленно тратить деньги. В течение трех дней обедал в одном и том же кафе на узкой улочке, названия которой хоть убей... А еще я тамс утра пил кофе. И вечером – еще разок. Кафе называлось «Санта Анна», оно было маленьким, и в нем еще было... то ли окно, то витрина... не знаю, как назвать. На окне – гравировка в виде замка, очень красиво. Через дырочки в гравировке видно дома на противоположной стороне улицы. И точь-в-точь напротив окна-витрины наблюдалось... другое окно-витрина, опять же с гравировкой. Очень каравеллистый корабль. А за витриной иное кафе, называется оно «Пинта», у самой каравеллы сидит господин в дорогом сером пиджаке и пялится на меня. Приходит примерно в то же время, что и я, плюс-минус пять минут. Пьет кофе и пялится. Одет как я. Да еще и лицо его, насколько я мог разглядеть, будто... будто... джазовая аранжировка моего. Нет-нет, никакой мистики. Не до такой степени. Не как двойники и не как близнецы. Но определенное сходство есть.

– Ну и...

– Да! Больше не отвлекаюсь ни на какую ерунду... Так я присмотрелся к этому странному человеку. И он, кажется, начал проявлять интерес ко мне. Но мысль познакомиться, поговорить о странностях нашего бытия, не приходила нам в голову. Я не голубой...

Значит, все-таки чухло.

– ...да и он, наверное, мужчинами в утилитарном смысле не интересовался. Но любопытно же. Тогда я решил поставить незнакомца в неудобную ситуацию: посмотрим, как он будет действовать. На четвертый день я пришел пораньше, открыл дверь кафе «Пинта», сел за «его» столик и заказал кофе. Тот же самый кофе, за те же самые деньги, скажу я тебе. Ни грана отличий, с какой стороны ни зайдешь.

– Господь с ним, с кофе. Что твой зеркальный господин?

– Ты не поверишь, тезка. Как только я сделал первый глоток и глянул в окно, сейчас же увидел его. Он делал первый глоток, сидя на «моем» месте в кафе «Санта Анна».

– Совпадение?

– Не знаю. До сих пор не знаю... Пока мы смотрели друг на друга, у меня возникли мысли, никак не связанные с поведением чужака. Я задался другим вопросом: что делаю здесь я сам? Тридцатидвухлетний дядька играет в игрушки, часами просиживает в испанском общепите, рассматривая ландшафт за окном, пепельницу, барную стойку и обнаженные до локтя руки официантки. Я подсчитал, сколько времени потрачено за последние несколько суток на кофейное сидение, ту же пепельницу и те же руки. Результат незамысловатых вычислений напугал меня. Раньше я не пытался заниматься подобными подсчетами... Выходило... Тезка, это очень просто, но в голову приходит почему-то в последнюю очередь! Выходило: я убиваю время посредством чашечек кофе, убиваю почти сознательно, мне надо спокойно и бестрепетно потратить жизнь! Мне просто надо перекантоваться до смерти, ни о чем не беспокоясь. Ты можешь понять?

– К сожалению, могу. У вас, богатых, конечно, особые игры, но кое-какие мелочи мне...

– ...неприятно знакомы! – воскликнул Никифоров.

– Можно сказать и так.

Мы разом замолчали.

Никифоров отложил драное шитье, воткнув иголку рядом с пуговицей. Руки его сами собой потянулись к заветному мешочку с махоркой. Очень хорошо шли на самокрутки газеты, которыми скупно снабжали нас осважники. Жаль, мало нам доставалось бумажного счастья: в штабах тоже были не дураки курнуть по-человечески... Никифоров, ни слова не говоря, отсыпал мне душевную щепоть. В армии, если ты не куришь, ты непонятный человек. И в конце концов, если только ты не старообрядец из числа строгих, курево обязательно влезет тебе в рот. Я курил много лет назад, в армии. Потом бросил. Теперь опять начал, попав на военную службу. Неловкими руками слаживал я самокрутку, просыпая драгоценные частички махорки.

Мы задымили.

Никифоров решил возобновить сложный разговор:

– О себе я все рассказал. Меня интересует твое мнение.

Мое мнение! Век бы тебе его не слышать.

Нас Бог к чему-то важному готовил. Там мы не пригодились ни для какого серьезного дела. Там мы функционировали на четверть проектной мощности, вот в чем дело. Здесь, кажется, нами просто забивают гвозди, здесь мы стали молотками, и молотки из нас вышли неплохие. Больше того, мы неплохо чувствуем себя в роли молотков. Да только и это, кажется, не та истинная роль, на которую готовил нас Бог.

– Мы плохо знаем, чего хотим. И разбираемся в этом чутьем, а не здравым рассуждением. Мы сидим здесь, и через полчаса всех прочих на ноги поставит побудка; вот мы увидим их рожи, возьмемся ружья чистить, а то и сдвинемся в путь-дорогу, и станет нам до ужаса хорошо. Приятно станет. Ощущение «ты – на своем месте» придет... Это всё сердце и прочие потроха будут петь. А голова скажет то самое, чем ты меня недавно потчевал: «Бессмыслица. Дело стоит. Вы и сами простаиваете. Никакого толку от вас тут!» Но ведь нами-то не голова управляет...

– Вывод?

– Сам делай, математический человек. Я до сих пор не могу разобраться, что тут к чему. Может, ты разберешься.

Стояло раннее утро, полку дали отдохнуть, и сегодня солдат не будили ни свет, ни заря ради дальнего перехода и скорого жесткого боя за какое-нибудь стратегически важное село. У плетня появился Вайскопф. Он вышагивал горделиво и браво, почти-строевым манером, насвистывая марш, да не только насвистывая, а еще и покачивая головой в такт военно-полевой мелодии, губами и бровями выделявая автографы за целый духовой оркестр пожарной команды города Харькова. Проходя мимо нас, Вайскопф остановился, открыл рот, желая сказать что-то веселенькое, но ничего говорить не стал, а только подмигнул и продолжил маршировку к соседней хате, куда его определили на постой. Левой рукой подпоручик нес ведро, опасно раскачивавшееся от его парадной ходьбы. Из ведерного жерла время от времени вылетали молочные брызги. Добравшись до нужной калитки, Вайскопф распахнул ее и взревел на всю улицу:

– Фаллическая сила! Штурм унд дранг!

Никифоров оторопело взглянул на меня:

– Какая муха его укусила?

– Видимо, подпоручик обновил понятие «военно-полевой роман».

Мой собеседник тоскливо вздохнул. Точно! Опять мы пропустили самую суть.

Матерый воробына с кулак размером подскочил к нашей скамеечке и строго спросил:

– Чьи вы? Чьи вы?!

А Бог весть, чьи мы. Оттуда ушли, здесь не прижились пока. Чьи мы? Господни, да взводного. Поймешь ли, птичка? Мы и сами не очень-то пониманием, старики мы, или дети, какой ветер гонит нас, не дает осесть, пустить корни, и заставляет желать несбыточного. Каждый из тех, кто пришел сюда из Москвы 2005-го, готов принести себя в жертву, да вот беда: ни один

не может до конца сформулировать, ради чего... Словно все мы – эмоции младенца, и нет еще языка, где открылось бы имя для нас.

Воробыще не улетает.

Никифоров с печалью в голосе за нас двоих отвечает малой птахе:

– Мы граждане страны, которую видели только в мечтах.

17 сентября 1919 года, поле под деревней Воронеж недалеко от Орла

– ...Идем в психическую? – с воодушевлением пристаёт Андрюша к Алферьеву.

Тот оборачивается и зло бросает:

– Либо вас, юнкер, худо учили, либо вы сами не проявляли должного прилежания.

Метров с десяти я отчетливо вижу, как багровеют уши Евсеичева.

– Во-первых, вы забыли, как следует обращаться к офицеру по уставу, – добавляет Алферьев, – во-вторых, посмотрите вот на это. Посмотрите, посмотрите!

Он указывает рукой неопределенно, куда-то вперед.

– ...Вы видите дистанцию до неприятельских окопов? Вы понимаете, что вон там, на холме, только человек, фатально не приспособленный для военной службы, не поставил бы батарею? Вы помните, какая почва у вас под ногами?

Андрюша нелепо ткнул пару раз каблуком в землю.

– ...Как вы думаете, поведет ли командир полка людей в психическую атаку по такому навозу? Идите, Евсеичев.

Я попытался подбодрить его, положил руку на плечо... но он сбросил мою руку.

– Он прав, а я дубина стоеросовая.

– Но обычно он не требует соблюдения уставных ритуалов, а тут взялся отчитывать тебя при всех...

– Дураков мало цукать, их надо натягивать!

Мне оставалось закрыть рот. Но он продолжил:

– Поле, ровное, как плац. Глина под ногами. И какая глина, вы посмотрите, посмотрите все! Это же суций творог! – он помолчал, переводя дыхание, и сконфуженно добавил, – я бы сам на его месте бесился: ведь многим из нашей роты сегодня придет конец.

– Евсеичев, немедленно замолчите, – самым вежливым тоном попросил Карголомский...

Блохин сунул руку прямо в черную жидель. Зачерпнул полную пригоршню и поднес к самым глазам.

– Та не-ет. Какая глина? Не усякая ж земля глина-от. Жирная... Родит хлебу по сам-пять, по сам-шесть, а то и по сам-десять... Рай им тут, орловским-от. Рай и царские небесные.

Он стряхнул шматок рая под ноги.

Мы вышли с опушки леса, построить редкими цепями и медленно пошли на «товарищей». Четыре шага, на пятый – выдергивание сапога из вязкой массы. Четыре шага, на пятый – выдергивание сапога... Епифаньев дергает ногой, с носка срывается трехфунтовый ком земли, взлетает над строем и шлепается в лужу перед самым моим носом. Грязь хлещет мне в лицо.

Над полем стоит легкий туман. Не видно, чем там занимаются красные и, слава Богу, не слышно их пальбы. Я уже научился большим подарком считать те секунды, которые отделяют начало атаки от начала вражеского огня.

Еще пять секунд. Еще три. Хорошо бы они там спали. Желательно, все. Включая офицеров... то есть краскомов... и часовых.

Справа от меня тяжело топает Ванька Блохин, сосредоточенно глядя вперед. Кого он там выглядывает? Надеется улыбочивые рожицы «товарищей» увидеть? А? Как-кого... он там высматривает? Еще правее – Вайскопф и Карголомский. Эти идут со странной легкостью, спокойно, как по матрасам, зараза, легкие оба, маленькие, земля их проглотить и сглотать не хочет, глотать в них нечего, одна жила-тянучка... Левее Андрюха осторожно передвигает ноги, ста-

вит на кочки, избегает ямок, вдумчиво идет, он весь тут, он весь – глаза и подошвы, ничего больше. Дальше семенит Евсеичев. Этот не ниже Вайскопфа, но почему-то двух его шагов едва-едва хватает, чтобы поспеть за расторопным немцем. Еще дальше, на самом фланге, Митя Шиloxвост, гимназист выпускного класса из Орла. Тут ему каждая бочажина известна, каждый перелесок, чуть ли не каждый гриб-подосиновик, их тут много на опушках, красны-девицы в рябиновых платочках... Митя вертит башкой, он к нам пристал недавно, еще носит вместо военной формы школьную курточку и фуражку старшего брата, инженера-путейца. Всё окрест входит в Митину душу восторгом припоминания. Идет освободитель! Словно грибы и лесные поляны будут обязаны ему свержением большевицкого ига... Восторженный кретин. Лучше бы не глазел по сторонам, а шагал, как следует, не отстал бы от цепи.

– Денисов! Не отставать! Калика дохлый.

О! Оказывается, Блохин и Епифаньев, опередили меня шага на три-четыре. Заезавлся, оплошал. Тут заезаешься! Холод ползет по ребрам, холод забирается под ребра. Почему так зябко?

Я стараюсь нагнать цепь, но спотыкаюсь, спотыкаюсь... В цепи главное поймать ритм общей ходьбы. Не реже и не чаще. Иначе выйдет, как у меня: то ли бегу, то ли плетусь, каждый шаг не попадет. От-т! Все сегодня не слава Богу. С утра порвал штанину, зацепившись за сучок. А перед атакой это дурной знак... Да что я за суевер? Не надо так, либо ты в Господа веруешь, либо в приметы. Нет, не надо так.

В паре шагов размеренно качается из стороны в сторону спина Ваньки Блохина: он при ходьбе раскачивается, точь-в-точь утка. Страсть как хочется догнать его и спросить: «Ванька, если с утра штанину порвал, точно подстрелят, или брехня?» Я догоняю его, но вижу каменное Ванькино лицо и не решаюсь задать вопрос. Оборачиваюсь к Епифаньеву, и тут понимаю: страх вышибает из меня ум, надо молчать, надо идти, надо молча идти, да и все.

В отдалении гавкает пушка. Затем еще одна. В воздухе висит тот особенный гул трехдюймового снаряда, который я быстро научился отличать от завывания гаубичных подарочков и свистящей смерти, посланной тяжелым орудием с железнодорожной площадки. За нашими спинами слышится грохот. Перелет. Очень большой перелет. Сейчас они будут брать нас в вилку. И, значит, следующим будет недолет.

Началось.

Понеслася вошь по Маньке... Так Митя давеча говорил.

У Ваньки Блохина после очередного похабного чмоканья матушки-землицы, орловского чернозема, самой плодородной почвы на всю Россию, сапог ощеривается гвоздастой пастью. Ванька начинает отставать. Андрияша оборачивается к нему и вопит:

– Шире шаг! Шире шаг!

Ванька зло орет:

– Жап на тебя!

Гула я на этот раз почему-то не услышал.

Ррургх! Р-р-р-р-ургх! Снаряды рвутся метрах в тридцати метрах впереди нас, поднимая на воздух пуды жидкой грязи.

Цепь колеблется. Я не могу сказать, каким органом чувствуешь колебание нескольких сотен сердец одновременно, но знаешь наверняка: сейчас множество людей думает об одном – как бы вжаться в сыру земельку, изгваздаться, рыло вжать в яминку малую, лишь бы не схлопотать горячий кусок металлической смерти. Внешне нашей нерешительности почти не видно, разве только бодрое наше стремление вперед немного замедляется.

– Ча-ще! Ча-ще! – взводный упрямо задает ритм.

Вайскопф, остановившись, забрасывает винтовку на плечо и неспешно закуривает. Проклятый немец! Да ведь не самокрутка у него, а настоящая сигара! Откуда добыл? Ну, раз он не боится, значит и мне...

Ррургх! На левом фланге взрыв накрывает цепь.

Вдруг я попадаю ногой в глубокую лужу. Падаю. Поднимаюсь на локтях, стараясь не вдавить трехлинейку в грязь. Локти скорым ходом топнут в жидали. С трудом становлюсь на ноги, лицо, наверное, в жутких разводах. Красавчик! Свинья, да и только...

Какая чушь в голову лезет! Какая чушь.

Гаш-ш-ш! В метре от моих ног железная болванка расплескивает жирную лапшу. Струя дыма рвется наружу из-под земли, вспузыривая почвенные соки.

Мне конец. Да меня в ключья разорвет!

На несколько секунд я застываю, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Убили все-таки. Зачем же так тупо меня убили! Господи, почему мне такое наказание? Чем я хуже других? Убили!

Дымок тоньшеет, тоньшеет, да и рассеивается. Снаряд упокоился в пашенной черни. Он обессилен и не прикончит меня. Он до меня не доберется, гад! Гад!

Я пинаю то место, куда он упал. Мудреное слово «камуфлет» всплывает в памяти. Когда снаряд зарывается в землю и не взрывается, это и есть камуфлет...

Слева от меня дымится воронка, а на краю валяется обрубок орловского гимназиста.

Стою и тупо трясу головой.

– Денисов, почему стоишь на месте? Не умирай, воин! – торопит Алферьев.

Я догоняю цепь. Чвак-бульк, чвак-бульк, чвак-бульк хлупает сапог Блохина.

Нет больше Мити. Я знал его всего три дня. Мир праху.

– Чаше, калики, м-мать! – командует Алферьев.

Мы ускоряем шаг, мы без малого бежим.

– ...слушай мою команду... по окопам... пли...

Нам еще далеко до неприятельских окопов. И нам ни рожна не видно из-за тумана. Зато и нас не очень-то разглядишь. Вскидываю винтовку, передергиваю затвор и паляю в белый свет, как в копеечку. Потом еще раз. Вайскопф как-то объяснил мне: толку от стрельбы в движущейся цепи никакой, но враг должен услышать пули, посвистывающие около него, почувствовать угрозу для себя. Пусть понервничает.

Господи, какое счастье! Там, впереди, ни разу не затараторил пулемет. Только хаос винтовочного тьяканья. У них нет пулемета и, значит, наши дела не столь уж плохи.

Неожиданно красные перестают лупить по нам. Справа и слева от меня стреляют ударники, но им никто не отвечает. Артиллерия тоже молчит.

Когда мы добрались до маленьких окопов «товарищей», то обнаружили их пустыми. Красные ушли, не дожидаясь нас. Они оставили два полевых трехдюймовых орудия со всеми припасами, даже замки не сняли. В дюжине шагов за линией стрелковых ячеек валялся труп человека в новеньком обмундировании, с биноклем, пустой деревянной кобурой от маузера и трогательными очечками. Круглые линзы, одна с едва заметной трещинкой. Фуражка со звездой – чистенькая, еще не замаранная. Мертвец носил тщательно подстриженную черную бородку а ля Троцкий. Свои же, красноармейцы, штыками сделали из него сито. Несколько десятков людей ненавидели его, как худшего врага всей их жизни. Тело продырявили тридцать или сорок раз, не оставив ни единого живого места. Кололи в ноги, в ладони, в причинное место, расклевывали грудь и живот. Труп валялся в луже неестественно яркой крови, натекающей из многочисленных ран. И только лицо оставили нетронутым. Почему? Меня посетила недобрая, но, кажется, правильная мысль: из суеверного ужаса. Брезговали замарать штыки... Ведь это гражданская... и, полагаю, не просто было довести толпу мобилизованных мужиков до первых окопов, а потом заставить их стрелять по нашей цепи. Как знать, не поставил ли этот интеллигентный очкарик пару попавшихся дезертиров к стенке? Из соображений общественного договора и высшего блага, конечно же. Не учил ли он сам когда-то пырять офицеров, мешавших брататься с немцами, не дававших удрать с позиции к семьям, к хатам, к родным

коровенкам? Чего он ждал, отправляясь на фронт в окружении обозленных крестьян? Революционной сознательности? Любви и ласки? Приласкали, как учены.

Кем он числился? Краскомом? Комиссаром? Какая разница...

Дело сделано. Алферьев рукавом оттирает холодную испарину со лба. Вайскопф садится на пенек – это единственное относительно сухое место на версту вокруг – и вынимает сигару изо рта. Затем он искусно чеканит белое колечко, оно плывет по воздуху, плывет, плывет, покуда не превращается в ничто. Вайскопф поворачивается ко взводному и легонько вскидывает подбородок. В переводе с языка заядлых табачников это значит: «Ну? Курнешь, или как?» Алферьев мотает головой, мол, мысли под фуражкой не те, потом. Вайскопф поворачивается в сторону Карголомского. В ответ князь делает в воздухе горизонтальный надрез ладонью, мол, не сейчас, мол, мысли под фуражкой не те. Хозяин сигары медленно, со вкусом затягивается еще разок и дает волю второму колечку. Потом гасит недокуренное и аккуратно укладывает в особый жестяной футлярчик с изображениями слона, тигра, леопарда и надписью «Колониальные товары Вульфа». Жалуется:

– Я бы вздремнул, господа. Только не в таком хлябище. Всюду сырь, не уляжешься...

– Да-а... Следующие красноперые появятся нескоро, – откликается Евсеичев. – Дали мы им перчику нюхнуть.

Я вспоминаю про Митю-гимназиста. Ему понадобится гроб вдвое короче обычного.

Спустя час к нам неизъяснимым чудом подтягиваются полевые кухни. Батальон кормят горячим кулешом. Наша рота потеряла четверых, расстреляла море патронов, никаких потерь «товарищам» не нанесла, но выполнила боевую задачу. Всегда бы так.

18 сентября 1919 года, на один переход ближе к Орлу

Ночи стояли холодные, места в хатах всем не хватало: то деревенька окажется маловата для нашего батальона, то лучшие хаты займет кавалерия: какие-то жиденькие эскадроны, всякий раз прибывавшие на постой получасом раньше нас... Конники обнаглели, как есть обнаглели!

Мы расположились у костра: лечь на сеновале не хотелось, там холодно. У костра, правда, тоже не засидишься: на голой земле ночевать – не дело, заснешь человеком, а проснешься дуболомом Урфина Джюса. Я сроду не умел беречь свое тело: то и дело набивал шишки, зарабатывал царапины, ожоги... но тут живо научился бояться холода, жары, а еще того больше – любых порезов, даже самых маленьких. Если рана загноится, тебя не станут лечить. Хочешь лечиться – хилий в обоз, хватай там холеру, хватай дизентерию, да какую хочешь дрянь, там у них широкий выбор, вплоть до сифилиса. Честно долечишься до деревянного креста, как это было с сотнями дураков до тебя. Нет, друг ситный, ты теперь должен холить и лелеять грешную плоть, насаженную на костяной каркас. Сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится.

– Лев Михайлович Волковыский... командовал полком... пока бабушка с косой не явилась, чтобы забрать его в свой полк... фотография... пятаковские бумажки... о-о-о... да тут на полмиллиона рублей десятитысячниками... Письмецо... приватного содержания...

Алферьев негромко комментировал содержание бумаг, найденных у покойного краскома. Сырые дрова чадили в костре, а дым, покоряясь ветру, то и дело атаковал мои бедные глаза. Скоро я пойду на сеновал, но перед тем надо хорошенько прогреться.

– Книжица Гильфердинга «Финансовый капитал. Новейшая стадия в развитии капитализма»... сразу в костер... книжица «Опыт общения с умершими» мадам де Бовэ... мало своих бесов, они еще и заграничных навезли по семишнику за дюжину... с-стовертелищики... в костер, в костер... а это что за... что за... Никифоров! Ты, кажется, хвастался, что имеешь здоровое понимание оккультных наук? Не отказываешься от своих слов?

– Никак нет.

– Тогда давай-ка, расшифруй тарабарщину, разъясни литторей.

Никифоров потер глаза, выдал сон из отяжелевших век, да и протянул руку. С минуту он вертел над костром листок бумаги, так и сая примериваясь, а потом признался:

– Что-то не пойму. Точно не каббалистика, хотя еврейские буквы присутствуют. И здесь же, рядом, латынь. Масонские знаки, но какие именно, в смысле, какой системы, я никак не вспомню.

– Дайте-ка нашему доценту. Тут латынь, это совершенно ясно. А он должен бы ее... хм... князь?

Карголомский с вежливой улыбкой отобрал у него краскомовскую бумажку. Отодвинул ее подальше от глаз – видно, маялся дальнорукостью. И принялся неторопливо растолковывать, какие инигмы скрываются у товарища Волковыского в его масонской каббалистике, она же каббалистическая масонерия.

– Немудрено, господин Никифоров! Тут сдался бы и профессорский ум, сраженный незамысловатым искусством провинциального иллюзиониста... Да, здесь есть отдельные слова из иврита, например, слово «миквы», да еще озорное словосочетание, в буквальном переводе означающее «от мертвого осла пенис». Бессмысленный набор букв, а вот еще один и еще... Интересно, греческие «альфу» и «гамму» вставил сам сочинитель, гордо отказывая непосвященным в здравом смысле, или просто поторопился сельский грамотей, взявшийся за пятиалтынный перебеливать древнюю хартию... О йецирах, надо полагать, хотя бы один из них знал, правда, никогда их не видел. Но какая-то милая грезерка нафантазировала недостающее. О тексте потом расскажу, а вот картинка... Интересно, безумно интересно! Это, разумеется, знак ложи, покоящийся на довольно сносном изображении престарелой гейши... Извольте засвидетельствовать: я могу понять, чего ради на верхушке сего знака покоится фригийский колпак... но зачем понадобилось цеплять к оному колпаку внушительным размером кокарду с эмблемой немецкой фармацевтической фирмы «Геккель, Геккель и Левинсон» ваш покорный слуга объяснить не в состоянии...

Все, кто понимал значение слов «йециры», «миквы» и «фригийский колпак» давно лежали, давясь хохотом. Ванька Блохин смеялся за компанию, Никифоров неуверенно прискал, сохраняя сконфуженный вид, а мне вдруг сделалось не по себе: на каждом шагу в этой войне мистика. Иногда смешная, иногда жуткая, не важно. Мистической стихией пронизана любая мелочь. И у меня вдруг появилось странное ощущение: словно Карголомский схватил за хвост опасную гадину, и она пока лежит спокойно, однако чуть погодя пробудится с желанием хорошенько цапнуть обидчика.

Тем временем князь продолжал:

– Латынь в нашем документе кого угодно поставит в тупик. Ведь добрая половина слов и две трети грамматических оборотов принадлежат чистейшему немецкому...

Вайскопф перебил его, едва сводя слова со словами:

– ...какая... ха-ха-ха... за плечами... ха-ха-ха... alma mater... князюшка?

– У меня нет никакого образования, помимо домашнего. А вот покойный краском был настоящим полиглотом: он явно знал отчасти идиш, отчасти русский. Ровно настолько, чтобы понять дальнего родственника из Житомира или Друи, когда тот рассказывал о великом мистике и даже – только тс-с-с-с, реббе заругает, – каббалисте. Дескать проездом из Питера в Токио через Житомир, и всего-то неделю проведет в нашем местечке, но уже занял массу места в лучшем номере гостиницы «Эксельсиор», которую держит старый Шмулевич, очень хороший и достойный человек, не найти люкса лучше, чем у Шмулевича, до самой Варшавы.

Вайскопф стонал:

– до самой... Варшавы...

Алферьев, криво улыбаясь, уточнил:

– Но что же там, князюшка? Не дай нам впасть в томление духа.

Умелый ритор Карголомский нимало не обратил внимания на эту реплику. Он продолжал так, будто его не прерывали:

– О-о-о! Великий маг, престижитатор и – тс-с-с! – самую малость каббалист не стал делиться с гостями своим недавним прошлым. Он не рассказал, как учился в настоящем Московском университете на настоящем историко-филологическом факультете... мое почтение Михаил Андреевич... – он прикоснулся к козырьку фуражки, – но самую малость не доучился. Всего-то трех лет. Зато с какими людьми свел знакомство! Каких идей набрался! И не настало ли то самое время, когда...

– ...можно воспользоваться накопленным опытом, дабы осчастливить двух простых, но состоятельных людей в обмен на три-четыре казначейских билета приличествующего достоинства, – подхватил Андрюха с видом абсолютно честного предпринимателя.

– Ни в коем случае! – возмущенно вскричал Карголомский, – тонкая наука алхимии отвергает в большом делании столь непрочный материал, как бумага. Господа! Мы же серьезные люди! Только золотом или банковской монетой.

– ...но если у столь хороших и достойных господ совершенно случайно нет с собой звонкой монеты, – продолжил Епифаньев, нимало не смутившись, – то так и быть, казначейские билеты принимаются, хотя за искомый результат, весьма возможно, не будет достигнут. Тайная наука цифр не терпит профанических упрощений...

– Господа! – вскричал Евсеичев, – да вы тут составили заговор посвященных против непосвященных.

– Напрасно вы уверяли меня, Андрей Андреевич, что люди, не спаянные единством верных, ничего не заподозрят...

С Вайскопфом творилась форменная истерика. Евсеичев упал с бревна и, не пытаясь подняться, дрыгал в воздухе ногами.

– Впрочем, наступило время бесстрашно подойти к сути документа. А суть изложена на тыльной стороне аккуратным гимназическим почерком. Что позволяет мне, милостивые государи, сделать умозаключение о секретной мысли великого алхимика: не удастся зарекомендовать себя светилом тайной науки, так есть еще хлебное место писаря в уездном городе. А там ценят аккуратность и ровное письмо, да-с. Извольте же послушать: «Один рыцарь из замка Хакенберг в 1590 году оставил сыновьям в наследство особенный рецепт. Кто владел им, мог не бояться гибели от пули, стрелы или пушечного заряда, поскольку рецепт давал от них полнейшую неуязвимость. Старый рыцарь всю жизнь воевал, но ни разу не получил раны от сих вещей. Его сыновья и внуки счастливо пользовались рецептом благородного господина из Хакенберга. Но один из них, испытывая большую нужду в деньгах, продал секрет женщине из Жироны. Спустя три дня его застрелили на охоте. Тогда и стало понятным: кто отдаст тайну по собственной воле, сейчас же утратит неуязвимость. Женщина продала секрет за очень большие деньги капитану Вольфу из Магдебурга, а тот, достигнут преклонных годов без единой раны от огнестрельного оружия, подарил рецепт старому другу, еврею Мареку Левинсону. Моему отцу, Еханану Левинсону из Данцига, получившему секрет по наследству, предлагали пятнадцать тысяч франков золотом за бумагу из Хакенберга, но он не продал ее. Теперь я отдаю древнюю тайну хорошим и достойным людям за сущие пустяки. Мне причитается за сию бумагу триста рублей казначейскими билетами, сорок рублей золотом и воз свежей рыбы. Все на этом согласны, все тут поставили подписи своей волей. А на то свидетель Беня Зыгмунтович, портной из Заречья». Далее – автографы, в том числе и нашего почившего друга, краскома Волковского...

Тут мне привиделось, будто в руках у Карголомского – не шутовская бумага от ружейной «порчи», а змея, свернувшаяся прямо у него в ладонях. Вот она пробуждается, открывает глаза, поднимает голову...

У Вайскопфа, минуту назад смеявшегося над незатейливой бумажонкой, остекленел взгляд. Подпоручик смотрел в одну точку. От веселости его не осталось и следа. Неожиданно Вайскопф пробормотал:

– А ведь и правда... Ни единой стреляной раны. Откуда-то узнали мужички-красноармейцы про его тайну, да испыряли штыками. Выходит, пуля не брала «товарища». Дай-ка мне сюда ее... Дай же!

Змея зашипела и выгнула туловище для броска...

Тут Блохин порывисто перекрестил бумагу.

Протянутая рука Вайскопфа безвольно опустилась.

– Зачем она тебе, Мартин? – брови Карголомского отразили крайнюю степень удивления.

– Пускай послужит настоящему делу. Неуязвимый боец в атакующей цепи, я полагаю, то самое, чего так не хватало нашей лейб-гвардии босоте.

– Вот это, Мартин? Да понимаешь ли ты, какая реникса попала нам в руки? Мои познания в еврейской письменности неприлично скудны, но даже их с избытком хватило, чтобы определить: вся еврейская часть документа представляет собой бессмысленный набор слов и букв, да еще скабресный анекдот о бане, осле, и соседке раввина... А вот тебе начало так называемой «латинской» части: «Добрый рыцарь должен искупаться в горячем молоке с добавлением крови, потом прыгай три раза вокруг дуб с меч в руку. Потом добрый рыцарь прыгай спина вперед два раза и выпить настойка хелиобабус... не знаю, что это такое... и поклониться всем фраттери...»

– Однако вещь произвела некоторое позитивное действие на господина краскома... – вяло заупрямился Вайскопф. Из голоса его пропала недавняя твердость.

– А у меня, признаться, тоже сыщется талисман, – без тени иронии произнес Епифаньев. Сунув руку за ворот гимнастерки, он извлек оттуда старую китайскую монету на шнуре, продетом сквозь квадратную дырку в центре медного диска.

Взводный ухмыльнулся. На лице его читалась одна мысль: «Ох, дети мои, дети, куда вас дети...»

– Смею ли я поинтересоваться, зачем она вам? – холодно спросил Карголомский.

– А на всякий случай. Говорят, помогает от болезней, а пуще того, от костных переломов.

– Запаслив, – одобрительно заметил Вайскопф.

Тогда Алферьев с ехидцей осведомился:

– Как же ты, калика, их носишь? Крест на левом сосце, а магическую висюльку – на правом?

Андрюха, не зная, как ответить, стушевался. Карголомский вновь окунулся в житомирскую эзотерику. А я, не отдавая себе отчета в том, что и кому говорю, забормотал:

– Как же вы допустили, что у вас столько грязи...

Слава Богу, меня не расслышали. Или не поняли. Лишь Вайскопф, да Никифоров бросили на меня взгляды, исполненные настороженного внимания.

Никифоров ответил:

– Кто – вы, тезка? Все мы по уши в этом самом.

Тут я почувствовал омерзение. На меня неожиданно накатила волна тоски пополам с тошнотой. Господи! Ушел от этой дряни и пошлости, чтобы здесь опять уткнуться в нее носом! Господи! Масонское «письмо щастя». Дрянь и пошлость...

Гнев и брезгливость взяли по кнуту и принялись нахлестывать мою душу. «Брудер... херба... мекум... – бормотал Карголомский, – хабео... шварц бок... безграмотный переписчик приплел сюда какого-то черного козла, ему прочие атрибуты показались недостаточно сильными...» Оба кнута опустились на мое сердце одновременно. Повинуясь полыхнувшей боли, я выхватил бумажку из руки Карголомского и бросил ее в огонь.

Вайскопф с досады харкнул в костер, промахнулся, плевок поднял горячий пепел, тут же осевший на сапоге Ваньки Блохина. Тот, ни слова не говоря, сорвал зеленую ладошку подо-
рожника, плюнул на нее и принялся тщательно протирать запачкавшийся мысок. Между тем, князь, глядя на корчи бумаги, облизанной пламенем, задумчиво сказал:

– Нет-нет! Напрасно, Мартин... Не скрою, дерзость господина Денисова пришлась мне по душе. Ночи и так хватает вокруг нас, к чему же заглядывать в глаза архаической тьме?

– Какая ж брехотень, – подал голос Ванька Блохин, вертевший сапог так и сяк: не осталось ли на нем хотя бы крупинки пепла. Жил в нем щеголь. Терпеть не мог Ванька Блохин дырок на исподнем, грязной обуви, мешковатой формы.

Добавить к словам этих двух людей было нечего. Все мы устали на костер, словно искали неземную мудрость в ужимках огня. Трещали сучья, тени декаданса бегали по красному хрусталу угольков, ночная мгла искусно гасила искры прозрачными пальчиками. Полдюжины простаков с умными лицами высматривали какой-то особенный знак; пламя манило нас тайнами, но ничего не открывало, лишь пританцовывало перед нами, выделявало скоморошьи трюки, зазывая сунуть руку, потрогать, каково оно там, *внутри*. Наконец, по ночному бдению вдарила густая картечь епифаньевского храпа.

– Ишь ты, с затеями, с переливами... – уважительно отозвался Ванька Блохин.

* * *

...Рывком вынырываю из придонных трюмов сна. Холодно. А я весь в поту. Рукавом гимнастерки оттираю лоб.

Четвертый раз снится мне этот сон. Впервые он явился очень вовремя, приблизительно в первых числах июня 2005 года. Тогда со мной впервые завели серьезный разговор: «До сих пор мы обсуждали возможность откорректировать окружающую реальность лишь в чисто теоретическом ключе. Хорошо бы, если бы да кабы... Кажется, здесь мы добились полного взаимопонимания: нынешняя серая мерзость должна быть разрушена. Теперь, думается пора ввести в эту схему технический фактор. Иными словами, Агрегат, позволяющий забросить специалистов соответствующего профиля в иное время... к сожалению, только в прошлое... н-да... реально существует. Вам надо серьезно обдумать, желаете ли вы ради великого дела подвергнуть свою жизнь опасности. Если нет, прошу вас, сочтите мои слова шуткой. И тогда у вас не будет второго шанса. Шутка, так шутка, дважды беседовать на эти темы с вами никто не станет ни при каких обстоятельствах. А все ваши попытки собрать соответствующую информацию будут пресечены самым решительным образом. Понимаете? Ну а если вы по-настоящему заинтересованы в сотрудничестве, вам следует прибыть завтра в тринадцать-ноль на платформу „Радонеж“ Ярославской железной дороги. Там вас встретят и отвезут к месту дислокации учебной группы, которую мы именуем Невидимым Университетом. Но учтите: во-первых, вам придется держать язык за зубами; во-вторых, обратного хода и в этом случае не будет. Мы вынуждены защищать себя от внимания внешних сил всеми доступными методами. Понимаете? Вот и отлично. Уйти из проекта вам будет позволено только по решению руководства или ногами вперед. Мы не звери. Но техника, пребывающая под нашим контролем, способна уничтожить власть любой современной политической элиты. Понимаете? Со всеми вытекающими отсюда выводами. И при первых же признаках утечки, ради собственной безопасности и общего блага, мы будем вынуждены... Понимаете?»

Мне не понравился тот человек. И у меня всегда вызывали недоверие разговоры насчет «общего блага». Обычно за ними скрывается либо мошенничество, либо сектанство. Но ведь какой шанс, какая возможность! Если меня не дурачат, никогда, быть может, не получу я столь же дешево билет до станции «высокая судьба». Что там учебник! Обыкновенная работа. Допустим, я закончу его. Допустим, даже «пробью» в каком-нибудь издательстве. Допустим, он

принесет некоторую пользу. Но ведь все это – капля в море! Ничего особенно не переменишь в нашей современности одной правильной книжечкой по истории отечества. Ни славы для себя, ни перелома в духе времени мне не добиться даже при наилучшем стечении обстоятельств. Многим тысячам людей следует день и ночь биться в бетонную стену сердца и душами, чтобы в стене этой появилась брешь... А я один – ничто.

Грызли меня сомнения. С одной стороны, с другой стороны... Иногда бывает так: принимаешься решать проблему в обход, всякими закоулками, по одной лишь причине – боишься решить ее в лоб, прямо, честно и трудно. А закоулки приводят тебя не к решению, а к новым, еще горшим проблемам. И... и... Женя. Хорошо ли оставить ее тишком? Да хорошо ли вообще оставить ее, хотя бы и объяснившись противу инструкций серьезного дядечки? Ввязавшись в такой проект, можно и костей не собрать. Но тут дело в другом. Дело прежде всего в том, что для меня важнее: она или миссия?

Сон сморил меня глубоко за полночь, и к тому времени я еще ничего не решил. Поехал бы я на Ярославский вокзал по утру, или пошел в библиотеку, – а днем раньше я всерьез вознамерился прервать игрища в теплом кружке реконструкторов, да и вернуться к учебнику, – бабушка надвое сказала.

Но в утренний час я уже обладал твердым решением: надо спешить на Ярославкий вокзал. Ангел явился мне с ответом на мои сомнения.

Сон прошел перед моими глазами со стереоскопической отчетливостью и запомнился в мельчайших подробностях. Его вбили в мою память столь же прочно, как матрица вбивает изображение и надпись в металлическое тело монеты. Подобное со мной случается редко...

Я шел по сельской дороге, а справа и слева шагали люди в фуражках с кокардами. Плечо оттягивала тяжелая винтовка со штыком, солнце выливалось на нас чашу за чашей горячий свет. То ли перезрелое лето, то ли нежная осень просаливала мою гимнастерку. Далеко-далеко, на самом конце пути, у горизонта, в обрамлении дубрав, высился на зеленом холме замок со стенами светлого камня. Стрельчатые арки, узкие бойницы, плещут разноцветные флажки на башнях со шпилями... Необыкновенная острота зрения – ее мог даровать только сон – позволяла мне различить на стенах каких-то бродяг в звериной шкуре, отбивавшихся от рыцарского воинства. Рыцари в блистающих шлемах и плащах с крестами лезли вверх по приставленным лестницам, орлы реяли на штандартах над их воинством. Мы как будто шли им на подмогу. А над нашими рядами летал белый ангел с огненным мечом и лавровой ветвью – высоко-высоко, я едва различал его.

И кто-то шептал мне в самое ухо: «...Камелот... ты видишь Белый Камелот...»

Как еще подсказки мне искать? Все ясно!

...Электричка принесла меня на тихую лесную платформу недалеко от Абрамцева.

Когда приезжие разошлись, ко мне подошел белобрысый парень, низенький, наглоглазый, со вздернутым носом записного упряма и капризным ртом эгоистичного сибарита. На глаз, он пребывал в аспирантском возрасте. Причем в новом аспирантском возрасте: прежде это означало бы плюс два года срочной. Теперь – минус два...

Я ему:

– Простите, не подскажите, как бы мне пройти к дачному поселку?

Он мне:

– Смотря какой из них вас интересует... Меня зовут Александр Перцев. Пойдемте.

На разлуженном проселке ждал нас древний «москвич». Мой проводник, тронув с места, предварил нечаянное проявление любопытства непрошенными ответами:

– Я не являюсь сотрудником Невидимого Университета. Тем более, я не вхожу в число его основателей. Я всего лишь студент, учусь на хроиноинвэйдора седьмую неделю, а иногда выполняю... простые поручения ректората. Ничего серьезного рассказать не могу, поскольку просто не знаю. Не спрашивайте, бесполезно.

– Учитесь... Чему там учат?

Пауза секунд на пять.

– Что такое бланманже?

Я опешил. Знаю ведь, знаю, от бабки слышал, только потерялось точное определение в карманах памяти...

– Э-э... какое-то съестное... э-э...

Он безжалостно перебил меня:

– Кто командовал 5-м конным корпусом Вооруженных сил Юга России в августе – ноябре девятьсот девятнадцатого года?

На языке вертелись Деникин и Кутепов. Ну, Мамонтов. Где-то там он был, рейд совершал по тылам красных. Ну, Шкуро... Или Шкуро не того... не там?

– Мамонтов.

– Нет. Юзефович Яков Давыдович, тысяча восемьсот семьдесят второго года рождения, генерал-лейтенант, родом из литовских татар. Когда красные добились перелома в Орловско-Кромском сражении?

Я промолчал. Специалист по истории Гражданской войны, наверное, без труда вспомнил бы тот день или ту неделю, но я-то специализировался на Иване Великом...

– Хорошо, – с удовлетворением отметил мой собеседник. Мол, иного и не ожидалось. – Я уж не говорю о сотнях бытовых мелочей, об абсолютно неприемлемых для вас выражениях и, до кучи, о выражениях абсолютно непонятных. Вот например: обремезиться. Вы понимаете, о чем идет речь?

– Нет.

– Зачерeditь?

– Нет.

– Застить?

– Нет.

– Надеюсь, я наглядно объяснил, чему придется...

Тут его прервал звонок на мобильный.

– Да. Да. Понял. Да. Отлично. Да. Да. Да. Едем.

И – обращаясь ко мне:

– Наши специалисты проверили: вы никого за собой не притащили, не являетесь объектом слежки с помощью электронных средств, не имеете при себе записывающих устройств. Превосходно.

Он подал мне руку, я машинально пожал ее.

– Теперь мы действительно едем к месту.

На ближайшем перекрестке Перцев развернулся, и мы направились в противоположную сторону.

Я окончательно понял, что связался с группой отчаянно храбрых умников, не имеющей ни малейшего отношения ни к большому бизнесу, ни к правительству, ни к бандитам. Их наивная конспирация говорила сама за себя. Никакого подвоха. Ситуация полностью соответствовала моим желаниям и ожиданиям. Ведь я не имел ни малейшего желания служить *этому* правительству, *этому* бизнесу и каким угодно бандитам.

Километров двадцать или двадцать пять. Половину дистанции мне пришлось проехать с завязанными глазами. Перцев «утешил» меня:

– У нас предусмотрено три формы обучения. Во-первых, полигонная. Группа собирается в условленном месте, оттуда к университетскому полигону ее отвозят на автобусе. Во-вторых, рассеянная. Иначе говоря, как сегодня: студентов привозят на нескольких транспортных средствах к началу занятий, а по окончании развозят... В-третьих, стационарная. От трех суток до календарной недели перед самой заброской вы проведете здесь безвылазно. Готовы к этому?

«Транспортные средства»? У них там все такие казенные? Не хотелось бы.

– Когда заброска?

– День и час вам назовут позже. Ориентировочно, через полтора-два месяца.

Все положенные по моей педнагрузке зачеты-экзамены я к тому времени принял. Не придется мне разрываться между работой и... и... не знаю, как назвать... вот этим самым. Чудесно. Внутренне я готовился к худшему варианту.

– Да, я готов.

Судя по звукам: гараж... опускаются металлические шторы... идем по гулким прохладным коридорам... спуск вниз... негромко разговаривает с кем-то... протискиваюсь через турникет... опять коридоры...

– Мы пришли.

Он снимает повязку с моих глаз.

– Подождите здесь. Оглянитесь, но не отходите далеко, а то заблудитесь.

Уходит.

Оглядываюсь. Ничего хорошего!

Когда-то здесь располагался советский военный объект. Возможно, и даже скорее всего, секретный военный объект. Предположительно, секретный военно-промышленный объект. Потом его забросили решительно и надолго. А мои храбрые чудаки, по всей видимости, решили потихоньку расконсервировать его, но приводить в божеский вид не стали. То ли финансов не хватило, то ли времени, то просто сочли делом не стоящим внимания: есть где работать, и ладно.

Сырое бетонное подземелье. Металлические двери, окрашенное в «армейское зеленое» и «предупреждающее красное». Непонятные надписи с обилием сокращений: «5-й отд. Неплюев шт. хоз. 1128/1129», «Каб. 38 АХО мл.» и тому подобное. А то и просто ряды цифр, выведенных по бетону или металлу невыцветавшей черной краской. Тускло горят красные «тревожные» лампочки, забранные решеткой. Кабели тянутся по стенам тоннелей. Выпотрошенные железные ящики из-под сверхсекретной аппаратуры. Тянет неисправной канализацией. Полы выстланы крупными серыми плитами, и по углам видно: тысячу лет назад их покрывали в шахматном порядке мастикой. Старая военная мебель. Полузатопленное ответвление коридора, и там свалены в кучу металлические спинки пружинных коек. Сумка от противогаза лежит при входе в уборную. «ДМБ-90». «ДМБ-84». «ДМБ-77». «Саратов-75». «Я хочу обнять тебя, гражданка!». Стульчак отодран от унитаза и набирается сил рядом, у стенки. Холодно. Дух серпа и молота почует на всем.

Непостижимым, экзотическим образом красное протягивает руку белому... Вроде, все правильно, только малость некрасиво. Неэстетично.

Перцев приводит еще кого-то. Дылда с одухотворенной бородкой. До меня доносятся обрывки фраз:

– Мишка, ну времени нет...

– ...у кого оно есть...

– ...мне еще за Трефолевым ехать..

– ...а мне... зачет по бытовой лексике...

– ...выручи...

– Ладно.

Подводит ко мне дылду и представляет самым официальным тоном:

– Господин Денисов, вот ваш проводник по «подземному царству». Прошу любить и жаловать.

Дылда заулыбался:

– Давайте знакомиться! Михаил Никифоров. Если хотите, зовите Мишей.

Так мы и встретились...

– Ну, я вас покидаю! – Перцев унесся по гремящей металлической лестнице куда-то наверх.

– А можно на «ты»? – спросил Никифоров.

Поколебавшись, я ответил:

– Можно.

Ведь лучше так, чем полный официоз, как с Перцевым.

– Не подумай худого, у нас нормальные ребята. Умные люди, но без фанаберии. Не обращай внимания на Сашку, он отличник и зануда, готовится стать героем. А в остальном – тоже хороший мужик.

– Да я и не...

– Вот и отлично. Я уж думал, тебя достали его выкрутасы. Напустит тайн...

Мы свернули раз, другой, третий... Меня подавляла чудовищная громада военного подземелья. Вряд ли министерство обороны забыло о нем навсегда. Вопрос времени: или Невидимый Университет успеет добиться своего, или его заметят и вышвырнут отсюда.

До чего здесь тоскливо!

– А куда мы идем?

– На встречу с тремя персонами. Во-первых, с ректором, во-вторых, с первым твоим преподавателям, в-третьих, с личностью, которая тебя официально в нас зачислит.

– Един в трех лицах?

– Угадал. Кстати, мы пришли.

Хотя бы здесь освещение приличное. О, да тут настоящий компьютерный центр! И очень солидной комплектации, насколько я мог судить. Обо всем, прямо связанном с работой, местное начальство позаботилось, как надо.

Ко мне шагнул кривоzubый толстяк. Лучше б он не улыбался!

– Новенький?

Никифоров из-за моей спины ответил:

– Михаил Андреевич Денисов, сегодня первый день.

Неожиданно крепкое рукопожатие.

– Очень приятно. Рад, что вы к нам пришли. Добро пожаловать в дружину воинствующих идеалистов.

Теплый человек.

– Моя фамилия Привалов. Виктор Эдуардович. Пятнадцать лет назад я работал здесь официально. В качестве младшего научного сотрудника...

Так я свел тесное знакомство с Невидимым Университетом.

Сон, укрепивший меня в решимости попробовать ремесло диверсанта, дважды приходил после заброски в девятьсот девятнадцатый год. И я радовался ему, словно ребенок. Выходит не обманулся господин хроноинвэйдор, взявшись на рискованное дело: все как будто подтверждалось – я шел в окружении добрых товарищей, с винтовкой на плече, по дорогам, точь-в-точь таким же, как во сне. И были мы Белым Камелотом, а далеко впереди глазами души прозревались купола и стены древних московских обителей. Хотя, конечно, они не очень похожи на европейский замок... но ведь это сон. Лишь одно тревожило меня: маленькая заминка случалась со зрением, как только ангел пролетал чуть пониже и на миг закрывал собой замок вдалеке. На протяжении нескольких мгновений защитники замка выглядели теми же самыми рыцарями, недавно его штурмовавшими, – с орлистыми штандартами и начищенными до блеска шлемами, – вот только кресты на плащах заменяла какая-то восточная вязь; в то же время, горсть бойцов в разномастных мундирах с заплатами пыталась высадить ворота с помощью тарана. Под градом стрел оборванцы падали на землю один за другим, но не оставляли своего дела. Их фигуры я видел особенно отчетливо. Иногда я узнавал в одном из них Алфеева, а в другом Евсеичева... однако сходство тут же пропадало. Не стоило обращать на него

внимание, нет, положительно не стоило. На то и сон, чтобы плутать в его несуразице... Картинка осажденного замка быстро заменялась привычной, правильной.

Вот и на этот раз являлся мне ангел белокрылый, прямой длинный меч его разбрасывал язычки пламени, и они, отрываясь от стали, еще несколько мгновений плыли по воздуху, медленно рассеиваясь... Но сейчас не лавровая ветвь была у небесного создания в руке, а венок из лавра. Та же дорога, те же светлые стены, только ангел намного ближе ко мне. Я уже различаю вполне ясно черты его лица: холодный мрамор, совершенство, которого скульпторы достигали только в эпоху Возрождения. Одно только странно: и глаза его белы, и глаза его мраморны, белые зрачки вырезаны на них. Мне становится страшно, улыбка застывает на губах, обратившись в раскрашенный картон. А крылатое существо уже на расстоянии вытянутой руки. Венок... медленно опускается мне на голову. Я поднимаю взгляд. И вдруг лавр обращается в горящие уголья. «Бусы», состоящие из багровых «самоцветов», медленно ложатся мне на лоб и на волосы. Я не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Ослепительная боль обмораживает мне виски. Я закрываю глаза и кричу. Однако секунду спустя страдания мои прерываются. По щекам катятся капельки крови, но более меня не мучают, не пытаются...

С тревогой поднимаю я веки. Товарищи мои, корниловцы исчезли. И на дороге передо мной стоят уже два ангела, а не один. Прежний, горделивый и победоносный, по-прежнему вздымает огненный меч, фигура его дышит торжеством, лишь мраморная маска холодна. А другой, столь же прекрасный, с лебедиными крыльями, закрыл руками лицо и плачет. На его голове, а не на моей, лежит раскаленный угольный венец.

Только в тот момент я осознал: это сон заключил меня в к темницу иного пространства, надо уйти отсюда, сейчас же уйти! И просыпаюсь в поту... Рукавом гимнастерки оттираю лоб.

Какую истину собирались открыть мне силы сверхъестественные, и кто режиссерствовал в сем жестоком спектакле, я так и не понял. Что за лабиринты показывают тебе в тонких снах и наваждениях! Лучше бы не показывали. Моей простой душе всегда требовалось твердое «да» или твердое «нет». А тут неясные очертания неведомо чего, да еще искаженные маревом.

К чему?

1 октября 1919 года, Орел

3-й Корниловский ударный полк вошел в Орел.

За последний месяц я отмахал столько верст, сколько, по-моему, за год не наматывал в прежней своей жизни. Во мне копилась усталость, и по утрам все время казалось: ни за что не поднимусь... Ан нет, и поднимался, и топал, в кровь сбивая ноги, и бегал, если надо, и в атаку ходил, и даже убил двух человек, от чего маялся несказанно. Алферьев уже не говорил мне с ироническим прищуром:

– Ать-два, Денисов! Не умирай!

Ноги – самое уязвимое место солдата. Вот я сказал: «В кровь». И точно, первое «ранение» поздоровалось со мной на шестой или седьмой день похода, когда обе ступни с интервалом в несколько часов растрескались, кожа разошлась, портянки пропитались алой водицей. В другой жизни я отслужил срочную, а потому знал, как наматывать портянки, чтобы не убить ступни на втором километре. И я наматывал *правильно*. Только здесь не было километров. Они остались в будущем. Километры для пешехода – это когда их всего два или три. На худой конец, шесть. В армии я один раз бегал шестикилометровку в полной боевой выкладке. «Марш-бросок» – вот как называли офицеры наш недо-марафон по пересеченной местности... А тут, на запыленных лентах глубинной России, километров нет. Тут версты, и их очень много. Хорошо, если двадцать в день. А если тридцать? Или сорок? Ты можешь перематывать грязную вонючую тряпку на ноге хоть по десять раз в сутки, но кровавых мозолей не избежешь. Когда-нибудь не ты, а твои ноги, помимо воли и желаний ноговладельца, воздвигнут непробиваемую защиту от верстовых бус. Просто все заработанные ими мозоли сольются в одну твердую корку. Ступня

задубеет, и при желании ты сможешь расхаживать хоть по битому стеклу, не испытывая боли. Но тогда ты уже не захочешь измышлять новые испытания для драгоценных и возлюбленных ног! Да ни за какие шанежки. Ты будешь холить их и лелеять, поскольку в жизни этой начнешь понимать кое-что. Потерпи, это случится хоть и нескоро, но неизбежно. Если, конечно, тебя не убьют раньше.

Ты только представь себе: грузовые машины, броневики, легковые автомобили по-прежнему будут не для тебя. Даже лошади, и те продолжают с презрением коситься на жалкого пехотинца – а ведь ты и есть жалкий пехотинец, а не кто-нибудь другой. Ты меряешь русские большаки одиннадцатым номером, в то время как все стратегические лукавства продумывают люди, которых тебе не суждено увидеть вживе, быть может, никогда. Но неизбежная боль, допекавшая тебя больше всех мытарств, произошедших от резкой смены образа жизни, от перехода из одной цивилизации в другую, неожиданно отпустит тебя. Отцепится.

Тогда ты почувствуешь себя кровью, медленно текущей по венам страны. Тогда и дороги покажутся милыми подругами, а не злобными стервами...

Сегодня все эти версты меня ничуть не тяготили. Сегодня мне шагало легко, будто у моих стоптанных сапог выросли ангельские крылья.

Город встречал нас колокольным звоном, священники в лучших ризах, с хоругвями и сверкающими наперсными крестами стояли у входов в храмы и благословляли нас. Толпы горожан, а пуще того горожанок собрались на нашем пути, и чем ближе мы были к центральной площади, тем гуще они становились. Нам кричали какие-то правильные, высокие слова, барышни, краснея, подбегали к офицерам, прикасались к их щекам губами, дарили платки... Люди поосновательнее совали солдатам хлеб, табак, соленую рыбу. Они все были счастливы прибытию наших батальонов и наших знамен, и счастливы были до такой степени, что иногда срывались на реденькое, нестройное «ура!» На площади полковник-корниловец молодецки гарцевал, заставляя серого жеребца выделять на глазах у восхищенных дам всяческие фокусы. Перед солидным каким-то зданием – наверное, там размещались губернские «присутственные места», а впрочем, не знаю, – разбирали, или, вернее, раздирали на доски трибуну, украшенную красными флагами. Чуть поодаль двое мастеровых дробили большими кузнечными молотами памятник безымянному теперь уж народовольцу (надпись успели сбить), то ли даже, прости Господи, международному марксисту. Выглядели они точь-в-точь как дуэт молотобойцев на плакате, который мы в Понырях реквизируем и пустили на самокрутки. В нижней части плаката огромными буквами было написано: «Освобожденный Труд». Ну точно, все сходится...

А потом нашего Алферьева, как и других взводных, ротных, батальонных командиров, обступили со всех сторон зажиточные мещане, большей частью евреи.

– Господин офицер! Прошу вас ко мне. У меня масса места!

– Господин офицер, вы знаете как он кормит? Нет, вы знаете как он кормит? Да это же просто плевки, а не еда. Вот у меня есть отличнейшая рыба...

– Господин офицер! А я таки приглашаю к себе. Специально для вас будет сало. Вы слышите? Мы добыли для вас сала...

Видно было, что эти люди до содрогания боятся грабежей. Они наперебой выпрашивали к себе на постой офицеров, ну, или хотя бы солдат, пусть будут солдаты, хорошо! Знали: в тех домах, куда боевые части отряжали своих бойцов на постой, грабежей не бывает. За прочие никто ручаться не станет.

Алферьев с необыкновенной ловкостью распихал всех нас по богатым хозяевам. Мы с Ванькой Блохиным, Андрюшей Евсеичевым и Андрюхой Епифаньевым попали в дом к породной купеческой вдовице Антониде Патрикеевне. Вдовица кормила четырех отощавших солдатиков как на убой. По возрасту и повадкам она всем нам годилась в матери; это не мешало Ваньке в тот же вечер совершить с нею блудное действие, а под утро повторить его со впечат-

ляющими шумовыми эффектами. Но это Ванька, человек-кирпич, ему любое горе не в горе. А нам, признаться, кусок в горло не шел. Поначалу...

Для этого была веская причина. Дом Антонида Патрикеевны стоял вплотную к вокзалу, и двое Андреев, пойдя прогуляться как раз в том направлении, скоро вернулись – один пунцовый, другой блее покойника, и оба злые.

– Что такое? – спрашиваю.

– А ты сходи, поинтересуйся! – шипит Евсеичев.

На вокзале они подвели меня к труп старенького станционного чиновника. К ребрам его пожарным багром припилена была фотография молодого человека в офицерской форме – то ли сына, то ли внука.

– Пойдем-ка, это не все, Денисов.

...Солдаты вытаскивали тела из бревенчатого железнодорожного склада и опускали на землю тут же, рядом, у огромной ямы, предназначенной для всех. Сколько же здесь мертвецов!

– Человек шестьдесят, – тихо сказал Епифаньев, – все больше пленные, но и местных немало.

Я вспомнил, как нас встречали, вспомнил барышень, священников, полковничьего жеребца... Вот почему нас *так* встречали.

Евсеичев смотрел на меня исподлобья.

– Тебя все еще интересуется, Денисов, почему мы воюем по эту сторону фронта?

3-е октября 1919 года, Орел

В тот день нам дали передохнуть. Пополнить тошащие роты оказалось нечем, или, вернее, от орловских жителей-то и ждали новых добровольцев. А пока суд да дело, корниловцам позволили отоспаться.

Получилось худо.

Среди ночи полгорода поднял на ноги истошный трезвон с пожарной каланчи. Младшие офицеры подняли рядовых, построили на всякий случай, вывели коней... Но с места мы так и не сдвинулись. Час или более того корниловские роты стояли в полной боевой готовности. Мимо нас пронеслась двуколка, набитая офицерами неслужилого вида, как детская копилка мелочью. Кокарды они поснимали с фуражек, один размахивал револьвером у головы возницы, другие конфузливо поглядывали вокруг. Без оружия, как видно, их благородия чувствовали себя тревожно.

– Целое отделение бойцов... – негромко прокомментировал Евсеичев.

– Целое отделение отбросов! – зло ответил Вайскопф. – Эти горазды кланчить деньги и просаживать их по ресторациям. Бабы! Толку в них нет.

Чуть позже в южном направлении потянулась вереница пеших в узлах. Прогромыхала телега. Правил ею бородатый мещанин в картузе и косоворотке. Рядом, на мешках с рухлядью, устроилась его жена и двое мальчишек. Один из малых вякнул:

– Большевики! Большевики!

Отец, не оборачиваясь, ловко треснул его по затылку.

Ванька Блохин крикнул:

– Да иде йны? Красные-то...

– На московской доро... – от второго подзатыльника крикун лякнул челюстями и заткнулся.

Ротный, вернувшись от командира полка, скомандовал отбой. Я краем уха слышал, как расспрашивал его Алферьев:

– Ждать товарищей?

– Нет ни одного живого товарища на несколько десятков верст окрест.

– Тогда к чему эта круговерть?

– Полковник Скоблин подпалил себе мундир.

– Что?

– Вы знаете, поручик, где остановился штаб дивизии?

– В Благородном собрании.

– Абсолютно верно. Зато дальше все темно! То ли красные шпионы взорвали Благородное собрание, то ли взорвать не удалось, просто подожгли, то ли господин Скоблин подшофэ завалился спать, не соблаговоллив вынуть горящую папироску изо рта.

– А...

– До тла. Но все живы, в том числе и сам Скоблин. Распустите людей. Ать-два делать не придется...

Мы разошлись.

Под утро Ванька, натужно ворочая глыбищу Антонида Патрикеевны, снес то ли рукой, то ли ногой очень тяжелый предмет, каковой со всей дуры жажнул по полу. Всего вероятнее, это был утюг. Не тот милый легонький паровой утюжок наших времен, а солидная чугуныка, в опытных руках заменявшая гирю. Или, как знать, это были портновские ножницы, тоже вещь по-викториански основательная. Я впервые увидел их здесь, в орловской купеческой хоромине, и подумал сначала, не для срезания ли голов они предназначены. Нет, оказывается, первый супруг неутомимой Антонида Патрикеевны, большой умелец недорогого шитья, кроил ими ткани. А теперь бывшая его жена открамсывает ими селедочные головы и хвосты...

После падения тяжелого предмета проснулись все мы, и двое Андреев принялись повзрослому основательно рассуждать, какая версия выглядит более правдоподобной – обходится ли Ванька с нашей хозяйкой по-простецки грубо, и потому она испускает медвежий рык, сердясь на его неискусство, или же напротив, сей звук, раздающийся безо всякого ритма, сопровождает естественный восторг, происходящий от нехитрой житейской радости.

– Заткнитесь, птенцы народного просвещения! – прикрикнул я на них, – молоко-то на губах не обсохло.

Они обиделись и заткнулись. Но наш соратник продолжал с поразительной энергией демонстрировать нутрянную крепость сельской натуры. Сопровождающий аудиоряд его не смущал, а резвость Антонида Патрикеевны со временем ничуть не убывала, напротив, кажется, она принимала какие-то гомерические размеры – судя по трубным гласам, каковые испускало натруженное естество вдовицы.

На рассвете я заставил себя уснуть. Дал Господь взять свое...

Не тут-то было.

...матерно брехал кабыздох во дворе.

– Хозя-и-ин! Хозя-и-ин! Чтоб ты околел, бесово семя... Хозя-и-и-н! Отдай штанину, паразит... да как... ты... о! Убью! За полторы тысячи рублей пошил... а ты... пар-рази-ит... Хозя...

– Что угодно, судырь? Эй! И не тронь, слышь, ты, прыщ, мою псину.

– Да это ж она... меня!! За две тысячи рублей пошил штаны с пиджаком, одного материала-то... тьфу! Ваша псина, мамаша...

– Мамаша у тебе дома осталася. А тут тебе госпожа Колокольцева Антонида Патрикеевна. Второй гильдии мы.

– Каковна?

– Не каковна, а чеевна, трезор ты дворовый, бреху на версту, толку и с аршин не будет.

– Ну вы потише, я лицо государственное...

– Ой, ты подумай, лицо он государьсвиное! Да у нас тут городской спозаранку меж двор не шатался, а ты и вовсе хлыщик, таких, слышь ты, покойный мой Ферапонт Максимович дюжинами в прикащщиках имел. С утра одним соплю утрет, а к вечеру другим заместо рушника пользуется. Лицо он государьсвиное! а коли ты лицо, барбоса маво к чему дразнить

полез? Рыло в самую ж будку всунул! А дрючком цепяку для чего тянул? Может, ты ее стащить хотел? Или как сорочье племя, завидишь блескучее, и разом тут как тут?!

– Да я солидный человек, Авдотья Ферапонтовна, я, можно видеть, интеллигентный элемент... невестно мне в будку... рыло... что за слова такие, Аделаида Евлампьевна? Ни за что б. Не сойти мне с этого места!

– Ой, пустобрех. Я ж с окна видала!

– Ну-у... не все таким кажется, какое оно есть. По-научному говоря, иллюзион зрения.

– О! Люзион! Зубы тут мне будешь заговаривать... Кто ты таков и зачем явился?

Никто из нас уже не спал. По обычаю сельских и провинциальных людей наша хозяйка поднялась рано, занялась своим хозяйством захудалым – даром что ее Ферапонт, оказывался, был солидным воротилой, а наследство жене оставил неказистое, – и явила редкий талант двигаться по большому дому со скрипучими половицами и тысячей бытовых ерундовин, блюдя нешумную деликатность. Уже и петухи по всей городской окраине продрали горло, а мы добирали скудную солдатскую пайку сна, и никакой грохот нас не донимал. Надо ж было явиться ни свет ни заря этому... трезору. Правильно его пес цапнул, жаль не съел с костюмчиком вместе.

– Я Эдуард Моргаев, газетный редактор.

– Чевось?

– Да из газеты я, Аркадия Пантелеймоновна!

– Угу. А тут тебе какая газета?

– Тут я по поручению государственной важности...

Епифаньев, сонные очи вгоняя в череп энергичными движениями пальцев, предположил:

– Либо листовки, либо портреты.

Зевок расклинил ему челюсти. Жирный хозяйский кот, наглый сибиряк с хвостом толщиной в сардельку и усами от стены до стены, глядя на Епифаньева, вдохновился и тоже зевнул, сладостно загибая кончик языка.

Эдуард Моргаев, между тем, пустился в разъяснения:

– ...Доблестный дух наших молодцов не нуждается в подкреплении, но боевая память истинных героев долженствует быть увековеченной!

– Ты дело говори.

– Я уже при дверях самого дела, Манефа Аристарховна! Их высокоблагородие из ОСВАГа поручил мне...

– Откеля?

– Да из ОСВАГа же! Это присутственное место теперь такое новое.

– У, – понимающе буркнула купеческая вдова.

– Вот я по их приказанию-то и принес. Пять экземпляриев листовки, срочно подготовленной самоотверженными редакторами газеты «Орловский вестник» и отпечатанными сей ночью, да портрет геройски погибшего генерала Маркова, очень повсюду знаменитого...

Евсейчев заметил:

– Прав ты был, Андрюха. Прав, как и все скучные люди.

– Но-но! – пригрозил ему пальцем Епифаньев.

Тем временем редактор Моргаев пустился в объяснения:

– Здесь ли имеет честь квартировать отважный поручик Алферьев? Мои дары предназначены для сего бесстрашного человека и его неустрашимых солдат.

Взводного совсем недавно повысили из подпоручиков. Новое звание одной своей непривычностью прогнало остатки сна.

– Ох, – жалостливо закудаhtала Патрикеевна, – зря ж я тебе, сердечного, забидела. Встал небось, когда «кукареку» услышал, пошел-пошел по всему городу, а тут тебе не свезло. Нету никакого поручика в доме, один только мужик крепкий, еще другой малохолный, да две малых сироты, на войну напрасно ухваченных. А поручика некоторого нет.

Евсейчев тоненько пискнул, давясь хохотом.

– Однако в рассуждении единоначалия, Агафья Парфеньевна, должен быть где-то поручик Алферьев, раз в вашем почтенном доме остановились его неистовые бойцы, а их без первенствующего лица никогда не бывает.

– Заладил мне тут, лицо, да лицо...

Я быстро натягиваю сапоги на голые ноги, штаны, гимнастерка, ремень... Уже на крыльце слышу продолжение реплики:

– ...у себя повешу. Солдаты-то у меня есь? Есь. Вот им и будет трепоганда твоя. А портрет мне как раз понравился. Генерал хоть моему Ферапонту и не чета дородством, зато усами на него похожий. К тому ж за Бога храбрствовал. Пущай у меня висит.

– Да я...

– Пущай висит, я сказала! – взревела Антонида Патрикеевна, вырывая генерала Маркова из рук сублильного типчика в канотье.

Настало мое время утешить бедного журналиста.

– Господин Моргаев, – говорю я, выглядывая из-за утеса вдовицыных телес, – поручик Алферьев разместился по соседству. Если не побрезгуете, я готов передать ему ваши листовки.

Гримаса нравственных мук на лице гостя сменилась выражением долгожданного облегчения.

– Конечно же. Разумеется. Само собой. Вот-с.

Он протянул мне сверток, и не успел я забрать его, как Антонида Патрикеевна по-медвежьки основательным движением вытянула одну листовку.

– Вам и столько хватит.

Типчик двумя пальцами коснулся шляпы и отвесил легкий поклон, адресованный пространству между мной и хозяйкой дома. Однако Антонида Патрикеевна так просто его отпустить не собиралась.

– Не суетися. Сдал мне человека на руки, и шась? – заговорила она, не глядя на Моргаева. Левой рукой Ферапонтово солнышко держало портрет Маркова, а правой поглаживало подбородок генерала. Купеческая вдова относилась к лицу в рамке совершенно не так, как обычно относятся к фотографиям покойников, хотя бы и очень большим. Похоже, она верила, что от усопшего страдальца в мире осталась невидимая живая субстанция, отчасти воплощенная в портрете... – Ну что ж ты, голубчик, порядочной бороды не отрастил? Рожа-то почитай босая, к чему такое... Как звали-то его?

Последний вопрос вновь обращен был к газетчику.

– Да-а-а... – потянул он, морща лоб в поисках неведомого.

– Эх ты ж тля беспокойная, героя нес, а как величать, не разведал. Да что ты за человек после этого?!

– Там написано, – с оскорбленным видом ответил Моргаев, – А ваши оскорбительные и поносные слова, Антонида Патрикеевна, слышать мне обидно. И должен я раскланяться.

Однако же он не уходил, почему-то опасаясь сделать это без разрешения.

– Ишь ты, вспомнил, как меня зовут... – ехидно прокомментировала его собеседница.

– Сергей Леонидович, – сказал я.

– Как? – переспросила она.

– Его звали Сергей Леонидович.

– Спасибо, сыночек... – и, обратясь к портрету, – Ну, поживи у меня, Сергей Леонидович, не побрезгуй вдовьим домишком.

Моргаев переминался с ноги на ногу, ожидая конца сцены. Видно, не последним человеком была в городе Орле Антонида Патрикеевна.

– Как же его Бог-то прибрал?

Нимало не смутясь, газетчик отвечал:

– Разорван бомбой.

– Бонбой? Святые угодники! Стрась какая. Ну, уготовай ему, Господи, райския кущи... – с этими словами купеческая вдова, посуровев лицом, неспешно перекрестилась.

– Теперь ступай.

Моргаев удалился неприлично скорым шагом. За щегольскими штанами в крупную вертикальную полоску тащились по уличной грязи лохмотья рванины, державшейся на ниточке-другой.

Величавым галеоном поплыла наша хозяйка в спальню.

– Иван Семены-ыч! Не в службу... прибер-ка персону у калидоре. Я тебе молоточек дам, я тебе гвоздики дам.

Так говорила она с Блохиным, нимало не стесняясь моего присутствия. И голос ее переливисто рокотал, проникая из прихожей, по лесенке, мимо в Ферапонтова кабинета, мимо ныне пустующей комнаты для прислуги, к месту расположения супружеской перины, где блаженствовал нынче наш Ванька.

– Ага! – глухо донеслось с перины.

Из гостевой, куда вдовица определила нас на ночлег, выглянули две мордахи – заспанные, бледные – будто в белой кисее, – слегка оживленные выражением любопытства. Все эти полосочки на коже, точь-в-точь как на плохо отутюженных рубашках, вызывали пугающую мысль: все-таки было у Франкенштейна потомство.

Антонида Патрикеевна, стоявшая уже на лестнице, повернулась к ним и показала потрет:

– Вот малые, глядите! Герой. На белом коне въезжал в город Катеринодар, а потом попустил Господь погибнуть ему от бонбы. Помните ж его.

Епифаньев, выйдя из гостевой в одном исподнем, медленно поклонился. И это движение источало столько искренности, столько серьезности, что Евсеичев сейчас же повторил его поклон. Не содержала биография генерала Маркова ни бомбы, ни въезда в Екатеринодар на белом коне. Однако я последовал примеру ребят: в их вере теплилось больше правды, чем в моем знании. Хорошим, честным человеком был генерал Марков. Погиб в бою.

Поднялась хозяйка на второй этаж. А я роздал ребятам по листовке в руки, одну отложив для Ваньки. Казак с Георгиевским крестом на груди, приятно улыбаясь, накалывал на пику дюжину красноармейцев; три сосенки, отпечатавшиеся на рыхлой оберточной бумаге с дурной зернистостью, обступили героя, не смея, впрочем, достичь вершинами хотя бы уровня ременной пряжки. Года четыре назад такой же казак на листовке чуть лучшего качества, приятно улыбаясь, делал низку из немецких пехотинцев, и те же сосенки хороводили вокруг него, напрашиваясь на роль бревешков для костра под человеческим шашлыком... Военно-полевая фантазия всегда слыла женщиной без затей, и белое дело особой утонченности ей не подарило. Красные работали позаковыристее: они эту постную дамочку наловчились ублажать хитро

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.